



ПАТТИ СМИТ  
—♦♦♦—  
ПРОСТО ДЕТИ



CoRpus

Патти Смит  
**Просто дети**

«АСТ»

2010

## **Смит П.**

Просто дети / П. Смит — «АСТ», 2010

ISBN 978-5-17-086993-0

Патти Смит – американская рок-певица и поэт, подруга и любимая модель фотографа Роберта Мэпплторпа. В своих воспоминаниях она рисует точный и в то же время глубоко личный портрет эпохи. Нью-Йорк конца шестидесятых – начала семидесятых, атмосфера “Фабрики” Энди Уорхола и отеля “Челси”, встречи с великими поэтами-битниками и легендарными музыкантами – все это неразрывно переплетено с историей взросления и творческого роста самой Патти, одной из самых ярких представительниц поколения. “Просто дети” – это не только бесценное свидетельство о времени и щемящее признание в любви ушедшему другу. Это глубокая, выверенная, образная проза поэта, выходящая далеко за рамки мемуарного жанра.

ISBN 978-5-17-086993-0

© Смит П., 2010

© АСТ, 2010

# Содержание

Предисловие	7
Рожденные в понедельник	8
Просто дети	25
Конец ознакомительного фрагмента.	47

# Патти Смит

## Просто дети

© 2010 by Patti Smith

© С. Силакова, перевод на русский язык, 2011

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2011

© ООО “Издательство Астрель”, 2011

Издательство CORPUS ®

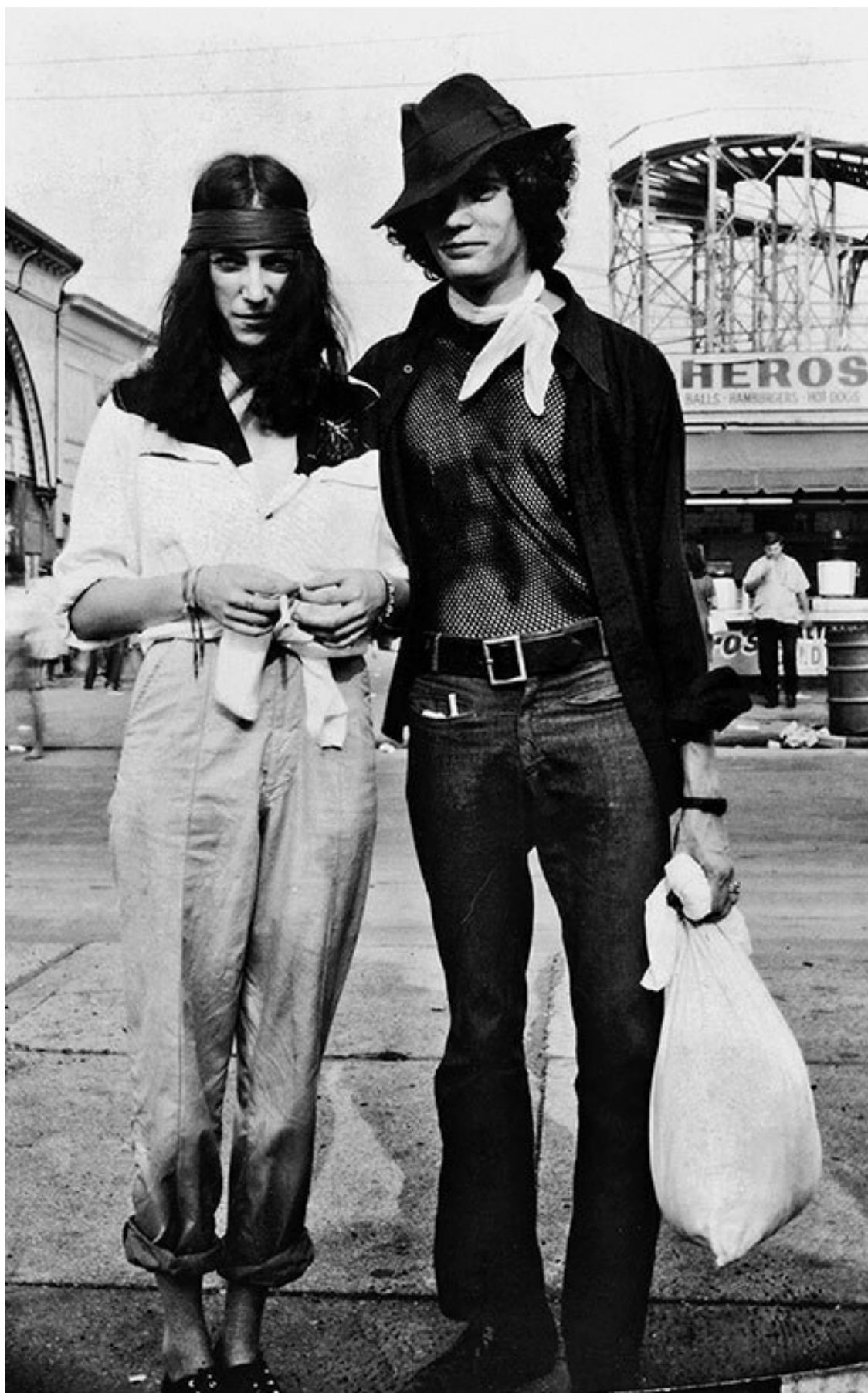
*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

\* \* \*

*О Роберте сказано много, а будет сказано еще больше. Юноши будут подражать его походке. Девушки будут надевать белые платья и оплакивать его кудри.*

*Его будут проклинать и боготворить. Осуждать или романтизировать его крайности. В итоге правду о нем узнают через его творчество: произведения художника – это и есть его материальное тело.*

*Тело, которое не чахнет. Тело, которое люди судить не властны: ведь искусство поет о Боге и, по большому счету, только Ему и принадлежит.*



## Предисловие

Он умер, пока я спала. Я звонила в больницу, чтобы в очередной раз пожелать ему спокойной ночи, но он забылся, погрузился на дно, под толщу морфия. Я прижимала трубку к уху и слушала с того конца провода его тяжелое дыхание, зная: слышу в последний раз.

Потом тихо разложила по местам свои вещи: блокнот, авторучка. Чернильница из кобальтового стекла – его чернильница. Моя чаша Джамшида<sup>1</sup>, мое “Пурпурное сердце”<sup>2</sup>, коробочка с молочными зубами. Я медленно поднялась по лестнице, пересчитывая ступени, все до одной, насчитала четырнадцать. Укрыла одеялом малышку в колыбели, поцеловала спящего сына, легла рядом с мужем, произнесла молитву. Помню, как прошептала: “Еще жив”. И заснула.

Проснулась рано и, спускаясь по лестнице, осознала: его не стало. Полную тишину в доме нарушал только телевизор, не выключенный с вечера. Какой-то канал классической музыки. Какая-то опера. Меня словно магнитом притянуло к экрану в тот момент, когда Tosca горестно и пылко признавалась в страстной любви к Каварадосси. Утро было холодное: март. Я надела свитер.

Подняла жалюзи, и кабинет озарился светом. Расправила плотное льняное покрывало на своем кресле, выбрала на полке книгу – альбом Одилона Редона, раскрыла на картине с женщиной в море: огромная голова над водой, маленькое море. “Les yeux clos”<sup>3</sup>. За сомкнутыми бледными веками – никому не ведомый мир. Телефон заверещал, я встала, подняла трубку.

Звонил младший из братьев Роберта, Эдвард. Сказал: напоследок, как обещал, поцеловал Роберта от меня. Я застыла, где стояла, окаменела; потом медленно, сомнамбулически вернулась на кресло. И тут Tosca запела гениальную арию “Vissi d’arte”. “Я жила ради любви, я жила ради искусства”. Я прикрыла глаза, сложила руки на груди. Провидение само решило за меня, как мне с ним проститься.

---

<sup>1</sup> Чаша Джамшида – волшебный предмет из персидской мифологии. В этой чаше, как в зеркале, отражается весь мир. (Здесь и далее – прим. перев.)

<sup>2</sup> “Пурпурное сердце” – воинская награда в США; вручается за одно боевое ранение.

<sup>3</sup> “Закрытые глаза” (фр.) – название картины.

## Рожденные в понедельник

Когда я была совсем маленькая, мама водила меня гулять в парк Гумбольдта на берегу реки Прери. В моей памяти запечатлелись размытые, точно на стеклянных фотопластинках, картины: старинный павильон лодочной станции, круглая эстрада-“ракушка”, каменный арочный мост. Река текла по узкому руслу, а потом широко разливалась, и там, на глади лагуны, я увидела особенное чудо: платье из белых перьев, тянется вверх длинная изогнутая шея.

“Лебедь”, – сказала мать, заметив мой восторг. Существо рассекало блестящие воды, хлопая огромными крыльями, пока не взмыло в небо. Его имя ни капельки не выражало его великолепия, не передавало чувств, которые во мне всколыхнулись. Во мне проснулась потребность, которой я даже названия не знала, – желание рассказать о лебеде, о том, какой он белый, как движется, словно взрываясь на ходу, как медленно всплескивает крыльями. Лебедь слился с небом, а я никак не могла подобрать слова, чтобы описать свое впечатление. “Лебедь”, – недовольно повторила я, и в груди у меня защемило: зародилось непонятное томление, незаметное ни прохожим, ни матери, ни деревьям, ни облакам.

\* \* \*

Я родилась в понедельник, в Чикаго, на Норт-Сайд, во время Великой Снежной Бури 1946 года. 30 декабря. А надо бы днем позже: младенцы, которые появлялись на свет 31 декабря, прибывали из роддома с приданым – новым холодильником. Как мама ни силилась удержать меня в животе, роды начались прямо в такси, которое еле ползло по берегу озера Мичиган через снежную круговерть. Если верить отцу, я родилась тощая и долговязая и тут же заболела бронхопневмонией, и папа меня выхаживал, держа в клубках пара над тазом с кипятком.

В 1948-м, в дни новой снежной бури, на свет появилась моя сестра Линда. Я была вынуждена быстро оправдать надежды родителей на меня – старшую сестру. Мама была занята – подрабатывала, глядя на дому белье, а я сидела на крыльце дома, где мы снимали меблированные комнаты, и дожидалась последней в городе телеги с лошастью – повозки торговца льдом. Торговец дарил мне ледышки, завернутые в оберточную бумагу. Одну ледышку я отложила в карман для сестренки. Потом полезла за ней – а ледышки-то и нету.

Когда мама была беременна в третий раз – ждала моего брата Тодда, мы покинули свое тесное жилище на Логан-сквер и переселились в Пенсильванию, в Джермантаун. Несколько лет прожили во временном жилье для военнослужащих и их семей – беленых казармах с видом на заброшенное поле, где буйно цвели полевые цветы. Мы называли поле Лоскутом, летом взрослые там посиживали: беседовали между собой, курили, пускали по кругу банки с вином из одуванчиков, а мы, дети, на поле играли. Мать научила нас играм своего детства: “Море волнуется”, “Третий лишний”, “Цепи-цепи, вам кого?”. Мы плели венки из маргариток, носили их на шее, надевали на головы. По вечерам ловили банками светлячков, выдирали у них огоньки и делали светящиеся колечки.

Мать научила меня молиться – молитве, которой научилась у собственной матери. “Отче небесный, ко сну отхожу, И душу свою я Тебе предаю”. Когда смеркалось, я становилась на колени у своей кровати, а мать стояла рядом, смолила сигареты и внимательно слушала, как я повторяю за ней строки. Молилась я от всего сердца, но слова молитвы меня нервировали, и я донимала мать расспросами. Что такое душа? Какого она цвета? Я побаивалась, что моя душа – она ведь озорная – сбежит, пока я сплю, и больше не вернется. Потому-то я изо всех сил старалась не задремать, удержать душу в себе – на положенном месте.

Мама записала меня в библейскую школу – наверно, чтобы удовлетворить мое любопытство. Там зубрили наизусть стихи из Ветхого Завета и слова Иисуса. После занятия мы строились в шеренгу, и нас вознаграждали медом в сотах, который доставали ложкой из банки – одной на всех детей, а дети наперебой кашляли. От ложки я инстинктивно уворачивалась, но идею Бога приняла быстро. Мне было приятно воображать, что наверху над нами кто-то есть: он вечно в движении, точно жидкие звезды.

Детская молитва меня не устраивала, и вскоре я попросила маму: “Можно, я сочиню свою?” Какое же это было облегчение, когда уже не требовалось твердить: “И если, Боже, умру я во сне, возьми мою душу на небо к Себе”, а вместо этого высказывать все, что на сердце. Итак, мне дали волю, и, лежа на своей кровати у угольной печки, я упоенно обращалась к Богу с долгими мольбами, беззвучно шевеля губами. Я страдала бессонницей и, верно, немало утомила Господа своими бесконечными клятвами, видениями и замыслами. Но со временем переключилась на молитвы другого сорта: безмолвные, для которых требовалось больше слушать, чем говорить.

Мой словесный ручей растекся, сменился ощущением, будто я то расширяюсь, то сжимаюсь. Так я вошла в сияющий мир фантазии. Отчетливее всего он становился в горячем жару гриппа, кори, ветрянки или свинки. Всеми этими болезнями я переболела, и каждая поднимала мое сознание на новый уровень. Я забивалась глубоко внутрь своего “я” и смотрела, как надо мной, разгораясь все ярче сквозь сомкнутые веки, вращается симметрия снежинки; так я раздобыла самый ценный сувенир – отблеск небесного калейдоскопа.

Постепенно с любовью к молитве во мне стала соперничать любовь к книге. Я устраивалась у маминых ног и смотрела, как она курит, пьет кофе и переворачивает страницы книги, лежащей на коленях. Меня интриговало, что мама так поглощена чтением. В школу я еще не ходила, но мне нравилось рассматривать мамины книжки, гладить бумагу, приподнимать листки папиросной бумаги с фронтисписов. Чего такого в этих книгах, что мама от них не отрывается? Когда мама обнаружила, что я сплю на ее малиновой “Книге мучеников” Фокса<sup>4</sup> – прячу фолиант под подушку, надеясь впитать его смысл, – то усадила меня за стол и приступила к трудоемкому процессу обучения грамоте. Ценой непосильного труда мы одолели “Матушку Гусыню” и перешли к доктору Сьюзу. Когда я достаточно поднаторела, мама разрешила мне устраиваться рядом с ней на мягком – сядешь и проваливаешься – диване: она читала “Башмаки рыбака”<sup>5</sup>, а я – “Красные башмачки”<sup>6</sup>.

На книгах я просто помешалась. Мечтала прочесть все, какие только есть на свете. А прочитанное рождало во мне все новые порывы. А не поехать ли мне в Африку, чтобы предложить свои услуги Альберту Швейцеру? Или надеть шапку с енотовым хвостом, прикрепить к поясу рожок для пороха и защищать простых людей, как Дэви Крокетт? Или забраться высоко в Гималаи и поселиться в пещере: вертеть молитвенное колесо, чтобы вертелась Земля? Но сильнее всего хотелось самовыражаться, и брат с сестрой стали моими первыми истовыми сообщниками, охотно вкушавшими плоды моей фантазии. Слушали мои рассказы, раскрыв рот, с энтузиазмом играли в моих пьесах и храбро сражались на моих войнах. Казалось: раз брат с сестрой за меня, для нас нет ничего невозможного.

Весной я часто болела. Была прикована к постели, обречена слышать только со стороны, сквозь открытое окно, крики играющих на улице. Летом младшие докладывали мне, какую часть нашего пустыря удалось отстоять перед натиском врага. В мое отсутствие мы проиграли

---

<sup>4</sup> Джон Фокс (1516–1587) – английский проповедник. В его “Книге мучеников”, популярной среди пуритан, особый акцент делается на страданиях английских протестантов и их предтеч с XIV века по царствование Марии I.

<sup>5</sup> Роман австралийского писателя Морриса Уэста о кардинале из Львова, который после заключения в ГУЛАГе становится Папой Римским.

<sup>6</sup> Сказка Г. Х. Андерсена.

не одну битву; мои усталые солдаты собирались у моей постели, и я благословляла их стихами из библии маленького воина – “Детского цветника стихов” Роберта Льюиса Стивенсона.

Зимой мы строили снежные крепости, и я руководила кампанией в ранге генерала: рисовала карты и отмечала стрелками наши стратегические планы, наступления и отступления. Мы вели войны наших ирландских дедов – противоборство оранжевых и зеленых. Мы носили оранжевое, но понятия не имели, что оно значит: просто мундиры у нас такие. Когда битвы приедались, я объявляла перемирие и шла в гости к моей подруге Стефани. Она выздоравливала от болезни, недоступной моему разумению, – лейкемии или чего-то наподобие. Стефани была старше меня – ей было, наверно, лет двенадцать, а мне восемь. В сущности, мне было особенно нечего ей сказать, и я вряд ли скрашивала ее жизнь, но было видно, что мое общество доставляло Стефани огромную радость. Ее старшая сестра вешала сушиться мою промокшую одежду и приносила нам какао с крекерами на подносе. Стефани откидывалась на гору подушек, а я плела всякие байки и читала ее комиксы. Если честно, то, наверно, я дружила со Стефани не по доброте душевной – мне просто хотелось полюбоваться ее богатствами. Я завороженно глазела на ее собрание комиксов: огромные штабеля, компенсация за целое детство, проведенное в четырех стенах. У нее были все выпуски “Супермена”, “Крошки Лулу”, “Классических комиксов” и “Дома загадок”. В старой коробке от сигар Стефани хранила полный набор талисманов за 1953 год: рулетка, пишущая машинка, конькобежец, красный Пегас – логотип “Эксон мобил”, Эйфелева башня, балетные пуанты, брелки в форме всех сорока восьми материковых штатов США. Я могла играть ими бесконечно. Если у Стефани появлялся дубль какого-нибудь талисмана, она его мне дарила.

У меня был тайник под половицей около кровати. Там я хранила заначку – деньги, выигранные в шарики, а еще коллекцию вкладышей и предметы культа, спасенные из мусорных баков у домов католиков: выцветшие бумажные образки, обтрепанные скапулярии<sup>7</sup>, гипсовых святых с обломанными пальцами и ступнями. Туда я прятала и принесенное от Стефани – смутно догадывалась, что не следует принимать подарки от больной. Но все-таки брала их и прятала, ощущая легкие угрызения совести.

Я пообещала навестить Стефани на Валентинов день, но не пошла. Мои обязанности генерала во главе армии из Линды, тогда и соседских ребят были очень утомительны. Вдобавок валил густой снег – зима вообще выдалась суровая. На следующий день я оставила боевой пост, чтобы выпить со Стефани какао. Она была какая-то снулая, умоляла меня не уходить, а сама задремала.

Я залезла в шкатулку с ее сокровищами. Шкатулка была розовая; поднимаешь крышку – и внутри начинает кружиться балерина, вылитая Фея Драже. Одна брошка в виде фигуристики меня настолько пленила, что я сунула ее в варежку. И, закаменев от страха, долго сидела у постели Стефани; потом встала и на цыпочках вышла, а Стефани так и не проснулась. Я засунула брошку на самое дно своего тайника. Спала я в ту ночь урывками: меня будила совесть. Проснулась вся разбитая, в школу пойти не смогла: провалялась в кровати, придавленная грузом вины. Мысленно поклялась вернуть брошку и попросить прощения.

Наутро наступил день рождения моей сестры Линды, но праздник отменили: Стефани стало хуже, и мои родители поехали в больницу сдавать для нее кровь. Когда они вернулись, отец плакал, а мама встала на колени у моей кровати и сказала мне, что Стефани умерла. Она пощупала мой лоб, и ее скорбь моментально сменилась тревогой: я вся горела. Оказалось, у меня скарлатина. В пятидесятые годы этой болезни очень боялись: она часто переходила в неизлечимую форму ревматизма. В нашей квартире объявили карантин, дверь выкрасили в

---

<sup>7</sup> *Скапулярий* представляет собой два скрепленных шнурами прямоугольных куска материи с религиозными изображениями или текстами. Католические священники или миряне, принявшие на себя определенные обеты, носят скапулярии на теле под одеждой. Имеются в виду малые (вотивные) скапулярии.

желтый цвет. Болезнь приковала меня к постели, и на похороны Стефани я не пошла. Ее мать принесла мне все стопки комиксов и коробку от сигар с брелками. Теперь я обладала всеми сокровищами Стефани, но даже взглянуть на них не могла – слишком плохо себя чувствовала. Тогда-то я ощутила тяжесть греха, даже такого мелкого, как кража брошки. Осознала: как бы я ни старалась вести себя хорошо, теперь мне не стать святой. И прощения Стефани никогда уже не заслужить. Но в одну из бессонных ночей, в постели, я вдруг сообразила: а вдруг со Стефани можно поговорить, если помолиться ей или хотя бы попросить Бога, чтобы он замолвил перед ней словечко?

Эта история очень нравилась Роберту, и иногда, в какое-нибудь холодное апатичное воскресенье, он упрасивал меня вновь ее рассказать.

– Я хочу послушать про Стефани, – говорил он.

В те наши долгие утра под одеялом я не опускала ни одной детали: рассказывала, как по писаному, истории своего детства, его чудес и печалей, а мы с Робертом пытались внушить себе, что ничуть не голодны. И всякий раз, когда я доходила до момента, как открываю шкапулку с драгоценностями, Роберт вскрикивал: “О нет, Патти, нет...” Мы часто подсмеивались над тем, какими были в детстве: я, дескать, хулиганка, которая пытается стать пай-девочкой, а Роберт – пай-мальчик, но пытается стать хулиганом. Шли годы, и мы обменивались между собой ролями снова и снова, пока не смирились с двойственностью наших натур. В нас сосуществовали оба начала: и свет и тьма.

Я была мечтательным ребенком, жила как во сне. Озадачивала учителей тем, что рано выучилась читать, но была абсолютно не способна найти своим способностям практическое, с точки зрения педагогов, применение. В моей характеристике из школы разные педагоги писали все то же: “Слишком часто витает в облаках, постоянно отвлекается”. Я и сама не знаю, куда уносилась в своих мыслях, но приземлялась частенько в углу: меня сажали на высокий стул всем на обозрение и надевали мне на голову позорный бумажный колпак.

Позднее я рисовала для Роберта эти потешные сцены унижений – на листах крупного формата, во всех подробностях. Он обожал эти истории. Похоже, Роберт преклонялся перед всеми чертами моего характера, которые другим казались отталкивающими, чуждыми. Благодаря этому диалогу в рисунках мои детские воспоминания сделались и его воспоминаниями.

\* \* \*

Я расстроилась, когда нас выселили с Лоскута – пришлось собирать чемоданы и начинать новую жизнь на юге штата Нью-Джерси. Мама родила четвертого ребенка, девочку, которую мы растили общими усилиями, – болезненную, но жизнерадостную Кимберли. На новом месте, среди болот, свиноферм и персиковых садов, я почувствовала себя в изоляции. Ушла в книги и в составление энциклопедии, которая, впрочем, не продвинулась дальше статьи “Боливар”. Отец приобщил меня к научной фантастике, и одно время мы вместе высматривали НЛО в небесах над зданием, где занимался местный клуб народного танца. Мы вели наблюдения, а папа неустанно опровергал теорию происхождения жизни на Земле.

В возрасте одиннадцати лет ничто не доставляло мне столько удовольствия, как долгие прогулки с собакой в лесу неподалеку от дома. Из красной глинистой почвы торчали гнилушки, “джек-на-амвоне”<sup>8</sup> да скунсова капуста. Я находила уютное уединенное местечко, усаживалась, клала голову на какой-нибудь поваленный ствол у ручья, где в воде мельтешили головастики. В пыльных полях около карьера я и мой преданный адъютант – мой брат Тодд – ползали по-

---

<sup>8</sup> Jack-in-the-pulpit (*англ.*), или аризема трехлистная – североамериканское растение, получившее свое народное название из-за формы цветка.

пластунски. Нашей старательной сестре поручалось бинтовать наши раны и снабжать нас драгоценной водой из папиной солдатской фляги.

Как-то раз, когда, прихрамывая, под солнцем, нависшим над головой как тяжелая наковальня, я возвращалась с передовой в тыл, прямо на меня выскочила из засады мать.

– Патриция! – проворчала она. – Надень блузку!

– В блузке жарко, – огрызнулась я. – Все ходят в одних штанах, а я что?

– Даже если очень жарко, пора тебе носить блузку. Ты уже большая, скоро станешь взрослой барышней.

Я возмутилась, объявила, что никогда никакой взрослой барышней не стану, буду только самой собой, и вообще я из клана Питера Пэна – мы не взрослеем.

Мама взяла верх, и я надела блузку, но испытала горькую муку: казалось, меня предали. Я уныло наблюдала, как мать делает женскую работу по дому, подмечала, какая у нее округлая, самая что ни на есть женская фигура. И мне казалось: все это – и домоводство и округлости – противоестественно, противоречит моей натуре. Меня передергивало от аромата духов и красных, как кровавые раны, ртов – в пятидесятые годы душились сильно и красились густо. Одно время я дулась на маму – она не просто принесла мне дурную весть, но и сама эту весть олицетворяла. Я сидела с собакой у ног, огорошенная, но непокорная, и мечтала о дальних странах. Вот сбегу и поступлю в Иностраннный легион, дослужусь до офицера, стану водить солдат в марш-броски по пустыне.

Утешение я нашла в книгах. Взглянуть на мой женский удел с позитивной стороны мне помогла, как ни странно, Луиза Мэй Олкотт. Джо Марч – одна из героинь “Маленьких женщин”, настоящий “мальчишка в юбке” – становится писательницей, чтобы в годы Гражданской войны заработать на хлеб себе и родным. Своим бунтарским корявым почерком она исписывает страницу за страницей – сочиняет рассказы для местной газеты. Джо вдохновила меня на стремление к новой цели, и вскоре я уже писала рассказы и рассказывала брату с сестрой длинные байки. Тогда-то у меня появилась мечта когда-нибудь написать книгу.

Еще через год отец устроил нам редкостную экскурсию в Филадельфийский музей изобразительных искусств. Мои родители были заняты по горло, и поездка с четырьмя детьми на автобусе в Филадельфию оказалась хлопотным и недешевым делом. Для нашей семьи это был первый и последний выезд куда-то всем скопом, а для меня – первая в жизни встреча с искусством лицом к лицу. В длинных томных фигурах Модильяни я узнавала себя, как в зеркале, элегантно-застывшие персонажи Сарджента и Томаса Икинса меня заворожили, а сияние импрессионистов ослепило. Но глубже всего поразили – пронзили сердце – работы из зала Пикассо, от арлекинов до кубизма. У меня перехватило дух от его непоколебимой уверенности в себе.

Отец восхищался Сальвадором Дали: виртуозная техника, глубокий символический смысл. Но у Пикассо он вообще никаких достоинств не заметил, и мы впервые в жизни крупно поспорили. Тем временем мама хлопотала, собирая младших по залам – они разбегались и скользили по гладким мраморным полам. Когда мы гуськом спускались по гигантской лестнице, я, несомненно, внешне оставалась все той же – угрюмой двенадцатилетней девочкой с костлявыми локтями и коленками. Но в глубине души знала, что преобразилась: мне открылось, что люди создают произведения искусства, а быть художником значит видеть то, чего не видят другие.

Я отчаянно хотела стать художником, но ничем не могла доказать себе, что во мне есть задатки. Намечтала, будто чувствую в себе призвание к искусству, и молилась, чтобы оно действительно проявилось. Но однажды, когда я смотрела фильм “Песнь Бернадетте” с Дженнифер Джонс, меня поразило, что юная святая не просила Господа о зове свыше. Это настоятель-

ница монастыря мечтала сделаться святой, но Бог избрал Бернадетту<sup>9</sup>, скромную крестьянскую девушку. Я забеспокоилась. Нести тяжкий крест призвания я была вполне готова, но как быть, если меня так и не призовут?!

Я росла как на дрожжах. Пять футов восемь дюймов, а весу – хорошо если сто фунтов. В четырнадцать лет я была уже не генералом маленькой, но преданной мне армии, а тощим изгоем, объектом всеобщих насмешек. Ниже меня на школьной социальной лестнице никого не было. Я спасалась тем, что выручало подростков в 1961 году, – книгами и рок-н-роллом. Родители работали в ночную смену. Сделав уроки и работу по дому, мы с Тодди и Линдой танцевали под Джеймса Брауна, *The Shirelles*, Хэнка Балларда с *The Midnighters*. Боюсь показаться нескромной, но все-таки скажу: танцевали мы не хуже, чем воевали.

Я рисовала, танцевала, сочиняла стихи. Вундеркиндом не была, выезжала на своем богатом воображении. Учителя меня поощряли. Когда я победила в конкурсе, который спонсировал местный магазин красок “Шервин-Уильямс”, мои работы вывесили в магазинной витрине, а денежной премии хватило на деревянный этюдник и набор масляных красок. Я прочесывала библиотеки и церковные благотворительные распродажи в поисках альбомов по искусству. Тогда можно было приобрести прекрасные издания буквально за гроши, и я упивалась миром Модильяни, Дюбуаффе, Пикассо, Фра Анджелико и Альберта Райдера<sup>10</sup>.

На шестнадцатилетие мама подарила мне книгу “Необычайная жизнь Диего Риверы”. Меня поразили размах его фресок, его скитания и мытарства, любовные истории и творческие усилия. В то лето я устроилась на завод браковщицей – проверяла рули для трехколесных велосипедов. Адская работа. От своих монотонных обязанностей я спасалась, погружаясь в грезы. Мечтала вступить в братство художников: как они, голодать, как они, одеваться, как они, работать и молиться. Я хвалилась, что когда-нибудь стану любовницей художника: по юности мне казалось, что ничего романтичнее на свете и быть не может. Воображала себя Фридой рядом с Диего – художницей и музой по совместительству. Мечтала познакомиться с каким-нибудь художником: я бы его любила и поддерживала и работала бы с ним бок о бок.

\* \* \*

Роберт Майкл Мэплторп родился в понедельник 4 ноября 1946 года. Он был третьим из шестерых детей в семье. Вырос он в Флорал-парк на Лонг-Айленде. Мальчик был озорной, через его беспечное детство проходила тончайшей нитью любовь к прекрасному. Глаза ребенка улавливали и сохраняли в памяти каждый блик света, каждый перелив драгоценного камня, богатое убранство алтаря, блеск золотистого саксофона или россыпь голубых звезд. Он был застенчивый, грациозный, маленький аккуратист. Еще в раннем детстве его душа пылала сама и стремилась воспламенить всех вокруг.

---

<sup>9</sup> *Бернадетта* (св. Мария-Бернарда, Мария-Бернарда Субиру/Собирос; 1844–1879) – дочь мельника из французского города Лурда, которой являлась Богоматерь. Часовня в Лурде сделалась одним из крупнейших в мире центров христианского паломничества.

<sup>10</sup> *Альберт Пинкхэм Райдер* (1847–1917) – американский художник, писал аллегорические картины и морские пейзажи.



В библейской школе в Филадельфии



В день первого причастия. Флорал-парк, Лонг-Айленд

Свет озарял страницы его книжки-раскраски и его тоненькие пальчики. Он обожал раскрашивать картинки, но не для того чтобы заполнять пустоты на листе, а чтобы подбирать цвета, которых не выбрал бы никто другой. В зелени холмов он видел алое. Снег лиловый, лица зеленые, солнце серебряное. Ему нравилась реакция окружающих, нравилось, что братья и сестры смотрят ошарашенно. Он обнаружил в себе талант рисовальщика. График он был прирожденный. Исподтишка корежил на своих рисунках предметы, превращал в абстракции и чувял свое растущее могущество. Он был художник и сам знал об этом. Нет, не воображал себя художником, как иногда воображают дети. Просто сознавал: ему это дано.

Свет озарял любимую игрушку Роберта – набор “Украшения своими руками”: пузырьки с эмалевой краской, малюсенькие кисточки. Пальцы у него были ловкие. Он упивался своим умением собирать из мелких деталей и декорировать броши для матери. Его не смущало, что это девчачье занятие, что “Украшения своими руками” – традиционный рождественский подарок для девочек. Его старший брат, отличный спортсмен, подсмеивался. Мать, Джоан, курила сигарету за сигаретой и умиленно смотрела, как сын старательно нанизывает для нее очередные бусы из мелкого индейского бисера. Позднее он сам стал обвешиваться похожими ожерельями – уже после того, как порвал с отцом, отказался делать карьеру и в католической церкви, и в бизнесе, и в армии, когда увлекся ЛСД и поклялся жить только ради искусства.

Роберту было нелегко решиться на разрыв с семьей. К искусству его влекло неудержимо, но расстраивать родителей не хотелось. О детстве, о родных Роберт упоминал редко. Непременно твердил, что получил хорошее воспитание, был огражден от бед и жил в полном достатке. Но свои истинные чувства всегда скрывал, подражая стоическому характеру своего отца.

Мать мечтала, что он станет священником. Ему нравилось прислуживать у алтаря, но больше потому, что было сладко входить в тайные помещения. Нравилась ризница, идея запретных комнат, облачения и ритуалы. С церковью его связывала не религиозность, не благочестие, а чувство прекрасного. Пожалуй, упоение битвы добра со злом влекло потому, что отражало его внутреннюю борьбу, высвечивало грань, которую мог переступить и он. И все же у первого причастия он стоял гордый: сознавал, что выполнил священную обязанность, наслаждался всеобщим вниманием. На шее у него был огромный бодлеровский бант, на рукаве – повязка, совсем как у Артюра Рембо на его детских фотографиях. Только Артур и в малолетстве смотрел бунтарем.

Дом, где Роберт жил с родителями, не отличался ни рафинированным художественным вкусом, ни богемным беспорядком. Это был чистенький уютный особняк, типичный для послевоенного среднего класса: в газетнице – газеты, в шкапулке для драгоценностей – драгоценности. Гарри, отец Роберта, порой бывал суров и категоричен. Эти качества, как и сильные чуткие пальцы, Роберт унаследовал. А от матери взял аккуратность и лукавую улыбку, в которой вечно чудилась какая-то загадка.

В холле дома висели несколько рисунков Роберта. Пока он жил с родителями, усердно старался быть почтительным сыном, даже специальность выбрал по отцовской воле – промышленный дизайн. Если же Роберт что-то открывал для себя самостоятельно, то помалкивал. Роберт обожал слушать рассказы о моих детских приключениях, но когда я его спрашивала, мало что мог поведать. Говорил, что в его семье никогда особо между собой не разговаривали, не читали книг, не делились сокровенным. Общей мифологии у них не было: никаких повестей о кладах, предательствах и снежных крепостях. Жили в безопасности, но не в сказке.

– Моя семья – это ты, – говорил Роберт.

\* \* \*

В юности я здорово влипла.

В 1966-м, в конце лета, я переспала с парнем, который был еще младше меня, и мы с первого же раза зачали ребенка. Я пошла к врачу, но он не поверил моим тревогам: прочел мне, слегка зардевшись, лекцию о менструальном цикле и спровадил. Но прошло несколько недель, и я осознала, что действительно беременна.

Я выросла во времена, когда секс и брак были абсолютными синонимами. Контрацептивы нельзя было купить просто так, да и я в свои девятнадцать была до наивности неискusada в вопросах секса. Наши ласки были такими скоротечными и нежными, что я даже сомневалась, увенчалось ли наше вожеление настоящим соитием. Но природа оказалась сильнее нас и оставила за собой последнее слово. От меня не ускользнула ирония судьбы: именно на меня, хотя я вообще не желала быть девчонкой и тем более взрослеть, свалилось это испытание. Природа сбила с меня спесь.

Возложить ответственность на парня – семнадцатилетнего, совершенно неопытного – было невозможно. Я должна была все улаживать сама. Утром в День благодарения я присела на кушетку в постирочной комнате в доме моих родителей. В этой комнате я спала, когда летом работала на фабрике, да и в остальное время, когда приезжала из педагогического колледжа Глассборо, где училась. За стеной слышались голоса: мама с папой варили кофе, брат и сестры, рассевшись за столом, пересмеивались. А я-то – старшая сестра, гордость семьи: поступила

в колледж, учусь на медные деньги, сама себя обеспечиваю! Отец опасался, что замуж я по своей неказистости не выйду, и надеялся, что профессия учительницы станет для меня верным куском хлеба. Если я останусь без диплома, отец будет просто сражен.

Я долго сидела и глядела на свои руки, сложенные на животе. Парня я освободила от ответственности: он был точно мотылек, который силится выбраться из кокона, и я бы сама себя возненавидела, если бы помешала его неуклюжему рождению для большого мира. Я знала: парень мне ничем помочь не сможет. Но знала и то, что мне одной с младенцем не управиться. Я доверила свою тайну одному добряку преподавателю, и он подыскал интеллигентную супружескую пару, мечтавшую о ребенке.

Я осмотрела свое жилище: стиральная машина, сушилка, большая ивовая корзина, доверху набитая грязным постельным бельем, на гладильной доске – сложенные рубашки моего отца. Был еще столик, на котором я разложила свои карандаши, альбом для набросков и книгу “Озарения”<sup>11</sup>. Я сидела, набиралась духа для разговора с родителями, беззвучно молилась. На миг мне показалось, что я вот-вот умру, и столь же моментально я осознала: все уладится.

На меня вдруг снизошло колоссальное спокойствие. Вытеснив страхи, во мне поселилось всепобеждающее ощущение моей миссии. Показалось, это ребенок мне его внушил – понял, как мне тяжело, пришел на выручку. Мной овладел полный душевный покой. Я выполню свой долг, позабочусь о своем здоровье, не стану отчаиваться. Ни за что не буду жалеть о прошлом. Не вернусь ни в типографию, ни в педагогический колледж. Стану художницей. Докажу, что кое-чего стою. Я встала и отправилась на кухню.

Из колледжа меня отчислили, но мне было уже все равно. Я знала, что не создана быть учительницей, несмотря на все мое уважение к этой достойной профессии. Жила себе дома, в каморке со стиральной машиной.

Боевой дух во мне поддерживала Дженет Хэмилл, моя однокурсница и землячка. После смерти своей матери Дженет поселилась у нас, я поделила с ней мою каморку. Нас объединяли дерзкие мечты и любовь к рок-н-роллу: мы за полночь дискутировали о сравнительных достоинствах *The Beatles* и *The Rolling Stones*. В магазине “Сэм Гудиз” отстояли многочасовую очередь за “Blonde on Blonde”, а потом обыскали всю Филадельфию в поисках такого же шарфа, как у Боба Дилана на конверте этого диска. Когда Дилан разбился на мотоцикле, ставили свечки за его здоровье. Лежали в высокой траве и слушали “Light My Fire” по радио из дряхлой машины Дженет, припаркованной с распахнутыми дверцами на обочине. Обрезали свои длинные юбки до мини – под Ванессу Редгрейв в “Фотоувеличении”, рылись в секундах, надеясь обзавестись пальто а-ля Бодлер и Оскар Уайльд.

Дженет оставалась моей верной подругой до самых родов, но когда у меня вырос живот, я была вынуждена искать себе другое пристанище. Соседи просто сживали моих родных со свету – глядели на них так, словно они преступницу укрывают. Я нашла себе “приемную семью” – тоже по фамилии Смит. Жили они чуть южнее, на берегу океана. Муж-живописец, жена-керамист и их маленький сын. Приютили они меня по своей доброте. Семейство жило по строгим правилам, но атмосфера была теплая: питались в соответствии с системой макробиотики, слушали классическую музыку, интересовались искусством. Я чувствовала себя одиноко, но Дженет при каждой возможности меня навещала. У меня были кое-какие карманные деньги. Каждое воскресенье я совершала долгую прогулку пешком, чтобы посидеть в безлюдном кафе на пляже и выпить чашку кофе с пончиком: в доме, где я жила, поклонялись здоровой пище, а кофе и выпечка были вне закона. Я смаковала эти мелкие излишества, кидала в музыкальный автомат четвертак и ставила три раза подряд “Strawberry Fields”. Таков был мой личный священный обряд; слова и голос Леннона давали мне силы, когда становилось невмоготу.

---

<sup>11</sup> Сборник стихотворений в прозе Артюра Рембо.

После пасхальных каникул за мной приехали родители. Роды совпали с полнолунием. Родители отвезли меня в больницу в Кэмдене. Поскольку я была незамужняя, медсестры обращались со мной черство и жестоко, несколько часов продержали меня на столе, прежде чем уведомить врача о начале родов. Насмехались над моей внешностью – я выглядела как настоящая битница, – прохаживались насчет моего аморального поведения, обзывали “дочкой Дракулы” и грозились отрезать мои длинные черные волосы. Потом пришел врач и страшно возмутился. Я слышала, как он кричал на медсестер – сказал, что предлежание тазовое и меня нельзя было оставлять без внимания. Пока я рожала, из-за открытого окна всю ночь доносились мальчишеские голоса, поющие а капелла. Гармония на четыре голоса на перекрестках Кэмдена, штат Нью-Джерси. Потом подействовал наркоз, и последнее, что я запомнила, – встревоженное лицо врача и перешептывания медсестер.

Мой ребенок родился в годовщину бомбардировки Герники. Помню, я подумала об этой картине, о рыдающей матери с мертвым ребенком на руках. Пусть мои руки будут пусты, пусть я буду рыдать, но мой младенец выживет, он крепкий и здоровый, его окружают заботой. Я верила в это всей душой.

На День памяти павших воинов я поехала на автобусе в Филадельфию, чтобы постоять у статуи Жанны д'Арк неподалеку от Музея изобразительных искусств. Когда я в детстве впервые оказалась в этом музее, статуи еще не было. Как красива была Жанна на коне, поднимающая свое знамя к самому солнцу. Девочка-подросток, она выручила своего короля из плена и возвела на трон в Руане только для того, чтобы ее предали и сожгли на костре. Юная Жанна, которую я знала по книгам, и ребенок, которого я никогда не узнаю: им обоим я дала клятву, что выйду в люди, и поехала домой. Сделала остановку в Кэмдене, зашла в секонд-хенд и купила длинный серый плащ.

\* \* \*

В тот же самый день в Бруклине Роберт закинулся ЛСД. Предварительно навел порядок в мастерской: разложил на низком столике альбом и карандаши, положил на пол подушку для сидения. Приготовил чистый лист мелованной бумаги. Он знал: еще не факт, что на пике наркотического эффекта он сможет рисовать. Но художественные принадлежности все-таки старался держать под рукой – авось понадобятся. Он и раньше пробовал работать под кислотой, но она вводила его в чернуху, в миры, куда он обычно не допускал себя усилием воли.

Часто красота, которая ему открывалась, на поверку оказывалась обманкой, плоды творчества – безобразными и агрессивными. Он не задумывался, отчего так происходит. Принимал как данность.

Сначала кислота показалась слабой, и он расстроился: значит, зря увеличил дозу против обычной? Он уже прошел через этап предвкушения и нервного воодушевления. Эти ощущения он обожал. Отслеживал, как страх и трепет, возникая где-то под ложечкой, растекаются по телу. То же самое чувство он испытывал в детстве, когда стоял, мальчик-алтарник в тесной сутане, за бархатной занавесью и держал крест, готовился выйти в путь.

Подумалось: ничего не выйдет.

Переставил золоченую рамку на каминной доске. Заметил, как по его жилам течет кровь, проходит через запястье, заметил яркий краешек манжеты. Заметил вокруг себя комнату: вся в самолетах, сиренах и псах, и стены заметил – они пульсировали. Осознал, что стискивает зубы. Заметил свое собственное дыхание, точно дыхание бога в обмороке. Накатила ужасающая ясность: от стоп-кадров прошлого подкосились ноги. Черда воспоминаний тянулась как ириска: корпус подготовки офицеров-резервистов<sup>12</sup>, укоризненные взгляды однокурсни-

---

<sup>12</sup> Корпус подготовки офицеров-резервистов – программа в высших учебных заведениях США. Представляет собой учеб-

ков, сортир, затопленный святой водой, одгруппники проходят и смотрят равнодушно, как собаки, неодобрение отца, исключение из корпуса и материнские слезы: во всем кровотоцит его одиночество, его личный конец света.

Попробовал встать. Ноги совершенно не слушались – затекли. И все-таки он сумел встать и растер ноги. Вены на руках странно набухли. Снял рубашку, насквозь пропитанную светом и потом, – сбросил свою кожу, в которой томился, как в тюрьме.

Опустил глаза – на столе бумага. Разглядел на листе рисунок – ничего, что никакого рисунка пока нет. Снова присел на корточки, уверенно водил карандашом в последних лучах вечернего солнца. Завершил два рисунка – аморфные паутинки. Написал слова, которые пришли к нему сами, и ощутил весомость написанного: “Разрушение вселенной. 30 мая 1967”.

Хорошая работа, подумал он с легким сожалением. Ведь никто не увидит того, что он повидал, и никто не поймет. Так уж заведено, он уже притерпелся. Живет с этим ощущением всю жизнь, только раньше пытался как-то повиниться за то, каким уродился, компенсировать это окружающим – словно сам виноват в своей непонятости. Компенсировал своим мягким характером, силился заслужить одобрение отца, учителей, ровесников.

Он точно не знал, хороший он человек или плохой. Альтруист или нет. Демон или нет. Но одно знал точно. Он художник. И за это никогда ни у кого не станет просить прощения. Он прислонился к стене, выкурил сигарету. Почувствовал вокруг себя ауру отчетливой ясности. Слегка вздрогнул, но понял: ничего, это просто физиологическая реакция. В нем зарождалось еще какое-то новое чувство, которого он не умел назвать. Ощущение, что он сам себе хозяин. Рабству конец.

Когда стемнело, он заметил, что испытывает жажду. Дико хотелось шоколадного молока. Он знал, где пока еще открыто. Похлопал по карманам: мелочь есть, завернул за угол и пошел к Мертл-авеню, широко ухмыляясь во мраке.

\* \* \*

Летом 1967 года я подвела итоги истекшего этапа своей жизни. Я произвела на свет здоровую дочь и вверила ее заботам любящей интеллигентной семьи. Бросила педагогический колледж: чтобы доучиться, у меня не хватало ни самодисциплины, ни интереса к учебе, ни денег. Работаю за минимальную зарплату в Филадельфии на полиграфической фабрике, где печатают учебники.

Куда теперь отправиться и чем там заняться? Вот какой вопрос надо было решать прежде всего. Я не отказывалась от надежд стать художницей, хотя и знала: денег на учебу в школе искусств взять неоткуда, мне бы самой прокормиться. В моем городке меня ничто не удерживало: никаких перспектив, никакого чувства общности. Родители растили нас в атмосфере богословских диспутов, сочувствия ближним, борьбы за гражданские права, но общая атмосфера в поселках Нью-Джерси мало благоволила людям искусства. Мои немногочисленные единомышленники переехали в Нью-Йорк, чтобы писать стихи и учиться на художников, и я чувствовала себя совершенно одинокой.

Моим утешением стал Артур Рембо. Я набрела на него в шестнадцать лет на лотке букиниста напротив автовокзала в Филадельфии. Его надменный взгляд с обложки “Озарений” скрестился с моим. Его язвительный ум высек во мне искру, и я приняла Рембо как родного, как существо моей породы, даже как тайного возлюбленного. Девяносто девяти центов – столько стоила книга – у меня не нашлось, и я ее просто прикарманила.

Рембо хранил ключ к шифру мистического языка, который я жадно впитывала, хотя и не вполне понимала. Безответная влюбленность в Рембо была для меня не менее реальным

чувством, чем все мои прочие переживания. На фабрике, где я работала среди безграмотных грубых женщин, Рембо навлек на меня гонения. Другие работницы заподозрили: раз я читаю книгу на иностранном языке, значит, коммунистка. Подловили меня в туалете и стали мне угрожать, требовали, чтобы я выдала им Рембо. Тут-то я и вскипела. Ради Рембо я писала и мечтала. Он стал моим архангелом, спасителем от рутинных ужасов фабричной жизни. Я крепко уцепилась за его руки, начертившие карту рая. Ходила горделиво оттого, что знала Рембо, и эту гордость у меня было невозможно отнять. Я швырнула “Озарения” в клетчатый чемодан. Уйдем в бега вместе.

Какой-никакой план действий у меня был. Отыскать друзей, которые учатся в Институте Прэтта в Бруклине: если буду вращаться в их кругах, смогу набраться знаний. Когда в конце июня меня уволили из типографии, я сочла: это знамение, пора сняться с места. В Южном Джерси с работой было туго. Я записалась ждать вакансий на заводе грампластинок “Коламбиа рекордс” в Питмене и в “Кэмпбелл суп компани” в Кэмдене, но меня трясло при одной мысли об этих предприятиях. Денег у меня было впритык: ровно на автобусный билет в один конец. Я решила, что в Нью-Йорке попробую устроиться в какой-нибудь книжный магазин, обойду все, какие есть, – рассудила, что для меня это самое подходящее место работы. Мама, профессиональная официантка, дала мне белые танкетки и чистый комплект формы в целлофановом пакете.

– Официантка из тебя никогда не получится, но форму я тебе все равно дам – а вдруг? – сказала она. Так мама дала мне понять, что я могу на нее положиться.

Утром 3 июля, в понедельник, я кое-как простилась с родными – слез было пролито много. Я прошла пешком мило до Вудбери и села на филадельфийский автобус. Проехала через мой любимый Кэмден, почтительно кивнула облезшему фасаду когда-то блестящего отеля “Уолт Уитмен”. В сердце закололо – больно было расставаться с этим захиревшим городом, но там для меня не было работы. Судостроительный завод тоже вот-вот закроется, соискателей и без меня станет предостаточно.

На Маркет-стрит я сошла, заглянула в “Недик”<sup>13</sup>. Опустила монетку в музыкальный автомат, прослушала пластинку Нины Симон с обеих сторон, выпила кофе с пончиком – в знак прощания. Перешла дорогу и оказалась на Филиберт-стрит, у лотка букиниста напротив автовокзала, у которого околачивалась последние несколько лет. Помедлила у лотка, с которого когда-то украла книгу Рембо. На этом самом месте теперь лежала потрепанная “Любовь на левом берегу”<sup>14</sup> с зернистыми черно-белыми фото – хроникой парижской ночной жизни в конце 50-х. Фото красавицы Вали Майерс – лохматой, с густо подведенными глазами, танцующей на улицах Латинского квартала – произвели на меня колоссальное впечатление. Эту книгу я красть не стала, но картинки запомнила.

На автовокзале меня ждал удар: за то время, пока я здесь не бывала, билеты подорожали почти вдвое. Мне не по карману. Я вошла в телефонную будку, чтобы подумать. И почувствовала себя Кларком Кентом в момент, когда он оборачивается Суперменом. Я собиралась позвонить сестре, хотя мне было стыдно возвращаться домой. Но на полке под таксофоном, на пухлом телефонном справочнике, лежал белый лакированный кошелек. А в кошельке – медальон и тридцать два доллара: почти что моя недельная зарплата на последнем месте работы.

Не вняв голосу совести, я присвоила деньги, но кошелек отдала в кассу автовокзала, понадеявшись, что владелица его разыщет и получит назад хотя бы медальон. Никаких документов или адресов в кошельке не было – никак не вычислить хозяйку. Мне остается лишь поблагодарить – и на протяжении всех этих лет я ее уже много раз мысленно благодарила –

<sup>13</sup> “Недик” – сеть ресторанов быстрого питания.

<sup>14</sup> “Любовь на левом берегу” – фотоальбом голландского фотографа Эда ван дер Элскена (1925–1990) с хроникой жизни парижской богемы, впервые изданный в 1954 году. В книгу также включены ранние рисунки Вали Майерс.

мою неизвестную благодетельницу. Это она в решающий момент пришла мне на выручку, подкинула мне, воровке, деньги на счастье. Я приняла дар – маленький белый кошелек, решив: сама судьба указала мне дорогу.

Я села в автобус: двадцатилетняя девушка в джинсах, черной водолазке и старом сером плаще, купленном тогда в Кэмдене. В моем маленьком чемодане в желтую и красную клетку лежало несколько рисовальных карандашей, блокнот, “Озарения”, кое-что из одежды, фотографии моих сестер и брата. Уезжала я в понедельник – день недели, когда родилась. Хороший день для приезда в Нью-Йорк, считала я по своей суеверности. Меня никто не ждал. Меня ждал весь мир.

Выйдя из автовокзала Порт-Оторити, я тут же спустилась в метро и с пересадкой на “Джей-стрит – Боро-холл” доехала до “Хойт – Шермерхорн”, оттуда до “Декалб-авеню”. День был солнечный. Я надеялась пристроиться у друзей, пока не найду собственное жилье. Пришла по адресу, который у меня был, в какой-то таунхаус, но оказалось: мои друзья переехали. Новый жилец встретил меня учтиво. Указал на дверь комнаты в глубине квартиры:

– Спросите, вдруг мой сосед знает их новый адрес?

Я переступила порог. На простой железной койке спал парень. Бледный, стройный, с гривой темных кудрей, в одних джинсах, с несколькими нитками бус на шее. Я замерла. Он раскрыл глаза и улыбнулся.

Когда я рассказала ему о своей проблеме, он одним движением вскочил, надел белую футболку и мексиканские сандалии уарачи, поманил меня за собой. Я смотрела, как он идет впереди, указывает мне путь, легко ступая на кривоватых ногах. Обратила внимание на его руки: он постукивал пальцами по бедру. Таких, как он, я еще никогда не видывала. Он довел меня до другого таунхауса на Клинтон-авеню, небрежно отсалютовал мне на прощанье, улыбнулся и ушел своей дорогой.

День тянулся. Я дожидалась друзей. По велению судьбы они так и не вернулись домой. В ту ночь, поскольку деваться мне было некуда, я заснула прямо на красном крыльце их таунхауса. А когда проснулась, наступил День независимости – первый мой День независимости вдали от дома, от привычного парада, пикника ветеранов и салюта. Я почувствовала: здесь в воздухе витает тревожное возбуждение. Под ногами у меня разрывались петарды, которыми швырялись ватаги мальчишек. День независимости я провела примерно так же, как и несколько последующих недель – в поисках родной души, крова и того, что было мне нужнее всего, – работы. Похоже, летом было не время обращаться за поддержкой к студентам. Никто особо не собирался мне помогать – все и сами еле сводили концы с концами, – а я, серая деревенская мышка, только путалась под ногами. В конце концов я вернулась на Манхэттен и стала ночевать в Центральном парке, недалеко от статуи Безумного Шляпника. Ходила по Пятой авеню и везде в книжных и прочих магазинах оставляла заявления о приеме на работу. Часто задерживалась у подъезда какого-нибудь роскошного отеля: наблюдала со стороны прустовский стиль жизни высшего сословия – дам и господ, что выходили с изящными чемоданами, золотисто-коричневыми, узорчатыми, из изящных черных автомобилей. Совсем другая жизнь. Между Парижским театром и отелем “Плаза” стояли коляски, запряженные лошадьми. Из подобранных на улице газет я узнавала афишу вечерних развлечений. Стоя напротив “Метрополитен-опера”, смотрела, как зрители входят внутрь, заражалась их предвкушением праздника.

Город был всем городам город: переменчивый и сексапильный. Меня легонько отпихивали с дороги стайки румяных молодых матросов, ищущих приключений на Сорок второй улице с длинной чередой порнографических кинотеатров, среди лотков с хот-догами, сверкающих витрин сувенирных лавок и нахальных женщин. Я заходила в игорные дома, заглядывала в окна великолепного, протянувшегося на полквартиры бара “Грантс”, где бесчисленные мужчины в черных костюмах поедали горы свежих устриц.

Небоскребы были прекрасны. Ни за что не верилось, что эти здания – всего лишь оболочки корпораций. Это были монументы, олицетворяющие надменный, но благородный дух Америки. Каждый квадрант ободрял своей внешностью, хранил на себе отпечаток движения истории. Мир старый и мир новорожденный, воплощенные архитекторами и рабочими в камень и известку.

Я часами гуляла, переходя из парка в парк. На Вашингтон-сквер до сих пор витали персонажи Генри Джеймса и чувствовалось присутствие его самого. Входишь под белую арку, и тебя приветствуют звуки акустических гитар и кубинских барабанов, песни протеста, споры о политике, и активисты, раздающие листовки, и старые шахматисты, которым бросают вызов молодые. Мне была вновь эта атмосфера открытости: непринужденная свобода, которая, казалось, ни для кого не оборачивалась гнетом.

Усталая и голодная, я скиталась по городу со своими жалкими пожитками, завернутыми в тряпку, – вылитый бродяга, не хватало только узел на палку повесить. Чемодан оставляла в камере хранения в Бруклине.

Как-то в воскресенье я устроила себе день отдыха от поисков работы. Всю ночь каталась на метро от конечной до конечной, до Кони-Айленда, спала урывками, при любой возможности. На “Вашингтон-сквер” сошла с поезда линии “Эф” и побрела по Шестой авеню. На перекрестке с Хьюстон остановилась посмотреть, как мальчишки играют в баскетбол. Там я и встретила Святого, моего проводника, чернокожего индейца-чероки, который одной ногой стоял на мостовой, а другой – на Млечном Пути. Он появился в моей жизни внезапно. У бродяг так иногда случается – они вдруг находят друг друга.

Я быстро смерила его взглядом – и тело и душу – и решила: хороший человек. Разговорила с ним как ни в чем не бывало, хотя обычно чуралась незнакомых.

– Привет, сестренка. Как дела на свете?

– На Земле или во всей Вселенной?

Он рассмеялся и сказал:

– Все путем!

Пока он смотрел на небо, я его разглядела. Вылитый Джими Хендрикс: высокий, худой, утчивый, только одежда слегка пообтрепалась. Он не излучал агрессии, не произносил никаких двусмысленных скабрёзностей и вообще не упоминал о материальной стороне бытия, кроме самых элементарных человеческих потребностей.

– Голодная?

– Да.

– Пойдем.

Улица, где находилось множество кафе, еще только просыпалась. Он зашел в несколько заведений на Макдугал-стрит. Приветствовал мужчин, которые готовились к новому дню.

– Привет, Святой! – говорили они, и он болтал с ними о всякой всячине.

Я стояла поодаль.

– Для меня что-нибудь найдется? – спрашивал он. Повара отлично его знали и одаривали бумажными пакетами со снедью. Взамен он кормил их байками про свои скитания от Вермонта до Венеры. Мы пошли в парк, сели на скамейку и разделили его добычу: вчерашний батон и пучок салата. Он велел мне оторвать и выбросить верхние листья. Разломил батон на две половинки. В сердцевине салат был еще свежий.

– В зелени есть вода, – сказал он. – Хлеб утолит твой голод.

Отборные листья мы положили на хлеб и с удовольствием съели эти бутерброды.

– Настоящий тюремный завтрак, – сказала я.

– Ну да, но мы-то на воле.

Этим все было сказано. Он немного поспал на траве, а я просто тихо сидела рядом, без опаски. Когда он проснулся, мы отыскали среди лужаек кусок голой земли. Он нашел палку

и нарисовал карту небосвода. Прочел мне лекцию о месте человека во Вселенной, а потом перешел к внутренней вселенной.

– Врубаешься?

– Да это все совсем обычные вещи, – сказала я.

Он долго смеялся.

Следующие несколько дней мы прожили по своему распорядку, который не обговаривали вслух. Вечером мы расходились, он своей дорогой, я – своей. Я провожала его взглядом. Часто он шагал босиком, закинув сандалии за плечо. Я дивилась его бесстрашию и ловкости – надо же, шататься по городу босиком, пусть даже летом.

Мы расходились искать ночлег. Никогда не обсуждали друг с другом, где по ночам находим пристанище. У него было свое, у меня – свое. Утром я отыскивала Святого в парке, и мы обходили свои точки – “утоляли жизненные потребности”, как он выражался. Завтракали питой с сельдереем. На третий день я нашла два четвертака, втопанные в парке в траву. В закускойной “Уэверли” мы взяли кофе, тосты с вареньем и яичницу на двоих. В 1967-м пятьдесят центов были неплохими деньгами.

В тот день он прочел мне длинную итоговую лекцию о человеке и Вселенной. Похоже, он был доволен мной как ученицей, но отвлекался чаще обычного.

– Жду не дождусь, когда уеду домой, – сказал он.

День был прекрасный, мы сидели на траве. Наверно, я задремала. А когда проснулась, его рядом не было. Лежал только красный мелок, которым он рисовал на асфальте. Я сунула мелок в карман и ушла своей дорогой. На следующий день я ждала его – хотелось верить, что он вернется. Но он не вернулся. Благодаря ему я смогла продержаться, не сойти с дистанции.

Я не грустила: стоило мне о нем вспомнить, я улыбалась. Воображала, как он вспрыгивает на подножку товарного вагона на космической железной дороге, ведущей к планете, которую он обнимал, планете, которую не случайно назвали в честь богини любви. Я недоумевала, почему он посвятил столько времени мне. И рассудила: наверно, потому, что мы оба в июле носили длинные плащи. Принадлежали к Ордену Богемы.

\* \* \*

Я удвоила усилия: стала обивать пороги бутиков и универмагов. И быстро поняла, что туда меня работать не возьмут – одета я неподходяще. Меня отвергли даже в “Капезио”, магазине одежды для классического танца, хотя я удачно культивировала стиль балерины-битницы. Я прочесала Шестидесятую улицу и Лексингтон-авеню, даже – чем черт не шутит – оставила заявление в “Александр”, сознавая, что там мне точно ничего не светит. И побрела куда глаза глядят, поглощенная мыслями о своем тяжелом положении.

Была пятница, 21 июля, и внезапно я натолкнулась на волну эпохальной скорби. Умер Джон Колтрейн, человек, которому мы обязаны альбомом “A Love Supreme”. Десятки людей сходились к церкви Святого Петра, чтобы с ним проститься. Простаивали там часами. В воздухе носился плач любящего сердца – голос саксофона Альберта Эйлера. Казалось, умер не просто музыкант, а святой: он дарил людям целительную музыку, но исцелить самого себя ему было не суждено<sup>15</sup>. В толпе незнакомых я испытала горе утраты – скорбь по человеку, которого знала только по его музыке.

---

<sup>15</sup> В 1971 году в Сан-Франциско была основана церковь Св. Джона Колтрейна, входящая в объединение Африканских православных церквей. Существует по сей день. На официальном сайте церкви сказано, что основатели церкви в 1965 году на концерте Колтрейна ощутили присутствие Св. Духа и, по их выражению, прошли “крещение звуком”.

Потом я шла по Второй авеню – местам Фрэнка О’Хары<sup>16</sup>. Розовый свет озарял ряды зданий с заколоченными окнами. Нью-йоркский свет, свет абстрактных экспрессионистов. Я подумала, что Фрэнку понравился бы оттенок этого угасающего дня. Если бы Фрэнк не умер еще раньше Колтрейна, то наверняка почтил бы его память элегией, как почтил память Билли Холидей.

Весь вечер я наблюдала жизнь Сент-Марк-плейс. Туда-сюда сновали длинноволосые парни в полосатых клешах и военных кителях из секонд-хенда. Их окружали стайки девушек, завернутых в батик. Улицы были обклеены афишами, возвещавшими пришествие Пола Баттерфилда и *Country Joe and the Fish*. Из открытых дверей “Электрик серкус”<sup>17</sup> гремел “White Rabbit”<sup>18</sup>. Воздух был тяжелый – взвесь из плесени, летучих химикатов и земляной вони гашиша. Свечи оплывали, роняя на тротуар огромные восковые слезы.

Среди этой публики я вовсе не была своим человеком, но чувствовала: тут мне ничто не угрожает. Имела полную свободу перемещения. То был табор юных кочевников: ночевали они в парках, в самодельных палатках, вторглись новыми иммигрантами в Ист-Виллидж. Я была не их породы, но в атмосфере невесомости, которая их окружала, могла парить свободно. Я верила: со мной ничего не случится. Не ощущала ни малейшей угрозы в этом городе, никогда ни с какими опасностями не сталкивалась. Красть у меня было нечего, маньяков я не страшилась. Я ни у кого не вызывала интереса, и в те июльские дни, мой период бездомности, это было мне только на благо: днем я исследовала город, отправлялась куда вздумается, а ночью спала где придется. Пыталась приткнуться где-нибудь в подворотне или в вагоне метро, даже на кладбище однажды забралась. Ошалело просыпалась под городским небом или осознавала, что чужая рука трясет меня за плечо. Пора менять лежбище. Пора брести дальше.

Когда становилось совсем невмоготу, я возвращалась в Прэтт, иногда случайно встречала знакомых, которые позволяли мне принять у них душ и остаться на ночь. Или спала в коридоре общежития под дверями комнат друзей. Не самая веселая жизнь, но я полагалась на свою мантру: “Я свободна, свободна”. Правда, через несколько дней ее, кажется, потеснила другая: “Я голодна, голодна”. Но я не нервничала. Спокойно дожидалась удачи, не собиралась капитулировать. Перетаскивала свой клетчатый чемодан с крыльца на крыльцо, стараясь не злоупотреблять натужным гостеприимством.

Это было в лето смерти Колтрейна. Лето “Crystal Ship”<sup>19</sup>. Дети цветов воздевали к небесам пустые руки, Китай взорвал водородную бомбу. Джими Хендрикс в Монтерее поджег свою гитару. На средних волнах крутили “Ode to Billie Joe”<sup>20</sup>. В Ньюарке, Милуоки и Детройте бунтовали. Это было лето “Эльвиры Мадиган”<sup>21</sup>, лето любви. И в его непостоянной, неприветливой атмосфере случайная встреча направила мою жизнь по совершенно новому руслу.

Тем летом я познакомилась с Робертом Мэплторпом.

<sup>16</sup> Фрэнсис Расселл О’Хара (1926–1966) – американский писатель и художественный критик, один из виднейших представителей нью-йоркской поэтической школы.

<sup>17</sup> “Электрик серкус” – ночной клуб с дискотекой, существовал с 1967 по 1971 год. Помимо музыкантов, там выступали цирковые артисты и экспериментальные театральные труппы.

<sup>18</sup> Песня группы *Jefferson Airplane*.

<sup>19</sup> “Crystal Ship” – песня с дебютного альбома *The Doors* (1967).

<sup>20</sup> “Ode to Billie Joe” – хит 1967 года, песня, написанная и исполненная Бобби Джентри (Робертой Ли Стритер).

<sup>21</sup> “Эльвира Мадиган” – фильм шведского режиссера Бу Видерберга, вышел в прокат в 1967 году.

## Просто дети

В городе было жарко, но я все равно носила плащ. В плаще чувствовала себя увереннее, когда искала работу со своим резюме в одну строчку – упоминанием о работе на полиграфической фабрике, рудиментами незаконченного образования и безупречно накрахмаленной формой официантки. Меня взяли в маленький итальянский рестораник “У Джо” на Таймс-сквер. На четвертом часу моей первой смены, когда я опрокинула на твидовый костюм посетителя поднос с телятиной в соусе пармезан, мне сказали:

– Можете идти.

“Официантка из меня никогда не получится”, – осознала я и оставила в общественном туалете свою форму, почти не запачканную соусом, и белые танкетки. Все это вручила мне мать – белую форму, белые туфли, – вдохнула в эти вещи свою надежду на мой жизненный успех. А теперь форма и туфли, какие-то пожухлые, лежали белыми лилиями в белой раковине.

Я осматривалась в интенсивно-психоделической атмосфере Сент-Марк-плейс. К революции, которая вскипала вокруг, я была абсолютно не готова. В воздухе висела какая-то смутная, зловещая паранойя, струились подземной рекой слухи, обрывки разговоров предрекали грядущие перемены. Я просто усаживалась где-нибудь и пыталась разгадать, что все это значит, а вокруг клубился дым марихуаны – возможно, потому те дни помнятся мне смутно, как сон. Я продиралась через густую паутину культуры, о существовании которой еще совсем недавно не догадывалась.

Раньше я жила в мире моих любимых книг, большая часть которых была написана в девятнадцатом веке. Была морально готова ночевать, пока не найду работу, в метро, на кладбищах, на скамейках, вот только не подготовилась к тому, что изнутри меня станет глодать неумолимый голод. Я была худышка с молниеносным обменом веществ и волчьим аппетитом. Никакие романтические порывы не могли заглушить во мне потребность в пище. Даже Бодлеру приходилось чем-то питаться. В его письмах немало отчаянных стенаний о том, как хочется мяса и портера.

Надо было устроиться на работу. И наконец мои тревоги улеглись: меня взяли кассиршей в отделение книжного магазина “Брентано” на Верхнем Манхэттене. Правда, я предпочла бы хозяйничать в отделе поэзии, а не выбивать чеки на этнические украшения и поделки, но мне нравилось рассматривать безделушки из дальних стран: берберские браслеты, афганские бусы из ракушек, статую Будды с инкрустацией из самоцветов. Больше всего я любила неброское ожерелье из Персии. Оно состояло из двух металлических пластин с эмалевыми вставками, соединенных толстыми, черными с серебром шнурками, и походило на очень древний экзотический скапулярий. Стоило оно восемнадцать долларов – целое состояние, казалось мне. Когда покупателей не было, я доставала его из витрины, проводила пальцем по арабескам, выгравированным на лиловой поверхности, и мысленно сочиняла историю ожерелья.

Вскоре после того, как я устроилась в “Брентано”, туда зашел юноша, когда-то повстречавшийся мне в Бруклине. В белой рубашке с галстуком он выглядел совсем иначе – прямо таки ученик католической школы. Он пояснил, что работает в отделении “Брентано” в Нижнем Манхэттене и хочет что-нибудь приобрести в кредит под зарплату. Очень долго рассматривал все товары: бусы, маленькие статуэтки, кольца с бирюзой.

И наконец сказал:

– Я хочу вот это.

Персидское ожерелье.

– Ой, оно и мое любимое тоже, – сказала я. – Оно напоминает мне скапулярий.

– Вы католичка? – спросил он.

– Нет, мне просто нравятся всякие католические вещи.

– А я был алтарником. – И он широко улыбнулся мне. – Очень любил махать кадиллом. Меня обрадовало, что он выбрал вещь, которую я сама выделяла, но расставаться с ожерельем было как-то грустно. Когда я завернула ожерелье и вручила ему, с языка как-то само слетело:

– Не дарите его ни одной девушке, кроме меня.

Так я сболтнула и тут же смутилась, но он только улыбнулся и сказал:

– Хорошо.

Когда он ушел, я взглянула на пустое место там, где раньше, на куске черного бархата, лежало ожерелье. На следующее утро это место заняла другая, более изысканная вещица, но ей не хватало безыскусной таинственности, которая была в персидском ожерелье.

К концу первой недели я страшно изголодалась, а ночевать мне было по-прежнему негде. Приноровилась ночевать в магазине. Пока мои коллеги расходились по домам, пряталась в туалете; когда же ночной сторож запирает двери, я где-нибудь укладывалась, подстлав собственный плащ. А утром прикидывалась, будто просто явилась на работу раньше всех. У меня не было ни гроша. Я шарила по карманам коллег – выуживала мелочь, чтобы купить в торговом автомате крекеры с арахисовым маслом. Совершенно деморализованная голодом, я была шокирована, когда в пятницу для меня не оказалось конверта, – не знала, что новичкам зарплату выплачивают только через две недели после поступления на работу. Я побрела в раздевалку, обливаясь слезами.

Когда я снова встала за прилавок, то подметила: в отделе околачивается какой-то мужчина, то и дело на меня поглядывает. Бородатый, в рубашке в узкую полоску, на локтях пиджака – замшевые заплатки. Директор представил его мне, сказал, что он писатель-фантаст. Писатель пожелал пригласить меня на ужин. Мне было уже двадцать, но в моей голове оглушительно зазвучало материнское предостережение: “С незнакомыми никуда не ходи”. И все же шанс поужинать парализовал мою волю: я согласилась. Как-никак писатель – можно надеяться, что приличный человек. Впрочем, мой новый знакомый больше напоминал актера, играющего роль писателя.

Мы дошли пешком до ресторана у подножия небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг. В нью-йоркских уважаемых заведениях я до этого не бывала. Решила: закажу что-нибудь попроще, выбрала в меню самое дешевое блюдо – рыбу-меч за пять долларов девяносто пять центов. Явственно помню, как официант поставил передо мной тарелку с целым озером картофельного пюре и ломтем пережаренной рыбы. Я страшно изголодалась, но кусок почему-то не шел в горло. Я чувствовала себя совершенно не в своей стихии, не могла понять, как себя вести. Почему вдруг этот мужчина вздумал со мной поужинать? По моему разумению, он трагил на меня огромные деньги, и я забеспокоилась: чего же он потребует взамен?

После ужина мы дошли пешком до самого Нижнего Манхэттена, пришли в Томкинс-сквер-парк, присели на скамейку. Я прикидывалась, как бы смыться, репетировала про себя фразы, и тут он предложил подняться в его квартиру и пропустить по рюмочке. “Ну вот, – подумала я. – Настал решающий момент, о котором предостерегала мама”. Я в отчаянии озиралась по сторонам, ничего ему не отвечая, – язык отнялся, и тут увидела, что в нашу сторону идет какой-то юноша. Казалось, распахнулась маленькая дверца, ведущая в будущее, и из нее вышел тот самый бруклинский юноша, который выбрал в моем отделе персидское ожерелье. Возник, точно в ответ на мою девичью молитву. Я сразу узнала его походку, кривоватые ноги, растрепанные кудри. Он был в джинсах и овчинной жилетке. На шее у него висели нитки бисерных бус – этакий хипповский пастушок. Я бросилась к нему, схватила за руку:

– Привет, помнишь меня?

– Конечно, – улыбнулся он.

– Я тут вляпалась, – выпалила я. – Можешь притвориться, будто ты мой парень?

– Конечно, – сказал он, точно совершенно не удивился моему внезапному появлению.

Я поволокла его к фантасту.

– Это мой парень, – проговорила я, задыхаясь. – Он меня искал. А теперь жутко сердится. Требуется, чтобы я немедленно шла домой.

Фантаст озадаченно оглядел нас обоих.

– Бежим! – закричала я, юноша схватил меня за руку, и мы бросились наутек, через парк насквозь, перебежали улицу.

Пыхтя, рухнули на чье-то крыльцо.

– Спасибо, ты спас мне жизнь, – сказала я.

Эту новость он выслушал с растерянным видом.

– Я так тебе и не представилась. Я Патти.

– А я Боб.

– Боб, – сказала я и впервые в жизни по-настоящему его разглядела. – По-моему, на Боба ты ничуть не похож. Ничего, если я буду звать тебя Роберт?

Солнце закатилось за крыши авеню Би. Роберт взял меня за руку, и мы побродили по Ист-Виллидж. В “Джем-Спа” на углу Сент-Марк-плейс и Второй авеню он угостил меня эгг-кримом<sup>22</sup>.

Говорила в основном я, а он только улыбался и слушал. Я рассказывала истории о своем детстве – первые эпизоды будущего цикла о Стефани, о Лоскуте, о Центре народного танца напротив нашего дома. Сама себе подивилась, как раскованно и уютно чувствую себя рядом с ним. Попозже он сказал мне, что в тот момент был под кислотой.

О ЛСД я только читала, в тоненькой книжке Анаис Нин “Коллажи”. Даже не догадывалась, что летом 67-го буйным цветом расцветала нарकोкультура. О наркотиках у меня были романтические представления: я считала их чем-то священным, предназначенным только для поэтов, джазменов и индийских ритуалов. Никаких странностей или перемен, которые тогда ассоциировались у меня с наркотиками, я в Роберте не заметила. Он весь лучился обаянием: нежностью и озорством, застенчивостью и надежностью. Мы шатались по улицам до двух часов ночи, пока, чуть ли не хором, не признались друг дружке, что нам обоим некуда приткнуться. Нас это рассмешило. Но время было позднее, мы оба устали.

– Кажется, я придумал. Знаю, куда можно пойти, – сказал он. Парень, с которым он раньше на паях снимал квартиру, был в отъезде. – Я знаю, где он прячет ключ. Думаю, он не стал бы возражать.

Мы поехали на метро в Бруклин. Его друг жил в маленькой квартире на Уэверли, неподалеку от Прэтта. Мы углубились в закоулок, Роберт вытащил из стены кирпич, достал из этого тайника ключ и отпер дверь.

Переступив порог, мы оба оробели – скорее потому, что квартира была чужая, а не оттого, что остались наедине. Роберт нашел себе занятие – хлопотал вокруг меня, старался устроить поудобнее, а потом, хотя час был очень поздний, спросил:

– Хочешь посмотреть мои работы?

Они хранились в кладовке. Роберт разложил их передо мной на полу. Рисунки, гравюры... Он разворачивал скатанные холсты. Мне вспомнились Ричард Пузетт-Дарт<sup>23</sup> и Анри Мишо. Сквозь переплетенные слова и каллиграфически выписанные строки сочились разнообразные энергии. Наслоения слов сгущались в энергетические поля. Картины и рисунки словно бы всплывали из глубин подсознания.

Было также несколько дисков, на которых с именем Роберта переплетались слова: “эго”, “любовь”, “Бог”; казалось, слова словно бы то погружались внутрь картины, то широко разли-

---

<sup>22</sup> *Эгг-крим* – классический американский напиток из шоколадного сиропа, молока и сельтерской воды. Изобретен предположительно в Бруклине в конце XIX века.

<sup>23</sup> *Ричард Пузетт-Дарт* (1916–1992) – американский живописец и график, один из крупнейших представителей абстрактного экспрессионизма.

вались по ее поверхности. Тут я не могла не рассказать Роберту, что в детстве по ночам видела узоры из кругов, расцветающие на потолке.

Он раскрыл книгу о тантрическом искусстве.

– Похожи?

– Да. – И я изумленно опознала небесные круги из своего детства. Мандалы.

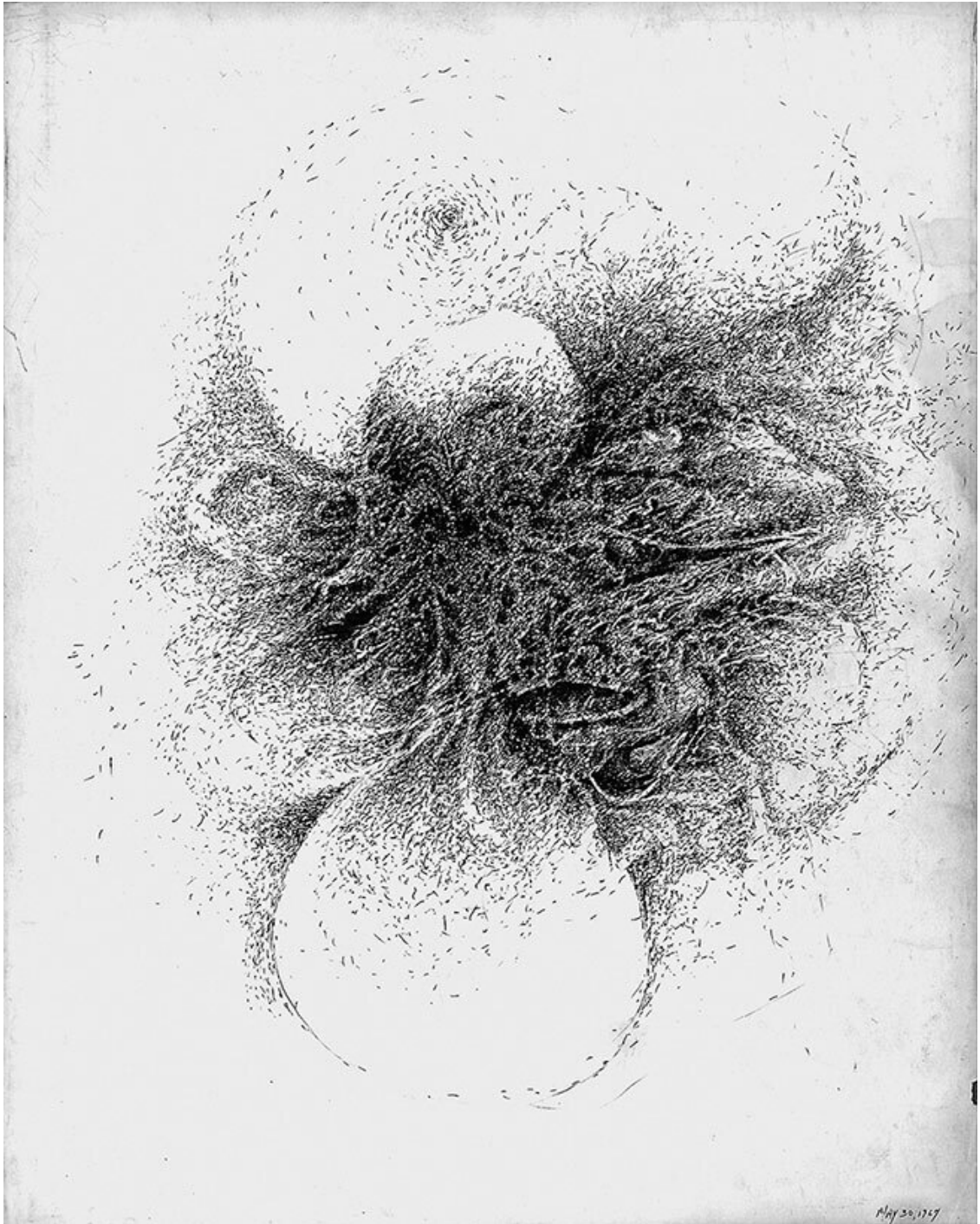
Больше всех меня потряс рисунок, сделанный Робертом в День памяти павших. Ничего похожего я ни у кого не видела. Поразила меня и дата: день св. Жанны д'Арк. Тот самый день, когда я перед памятником Жанне поклялась выбиться в люди.

Я рассказала об этом Роберту, а он ответил, что рисунок символизирует его собственную присягу на верность искусству, которую он принес в тот же день. И без колебаний подарил рисунок мне, и я осознала: пусть мы только что познакомились, но уже расстались со своим одиночеством и прониклись друг к другу доверием.

Мы листали альбомы дадаистов и сюрреалистов, под утро сосредоточились на рабах Микеланджело. Безмолвно впитывали мысли друг дружки. Когда настал рассвет, заснули в обнимку. А когда проснулись, он поприветствовал меня своей лукавой улыбкой, и я поняла: вот мой рыцарь.

И, словно так и надо, мы остались вместе – расставались, только когда шли на работу. Ни о чем не уговаривались – просто оба поняли, что в нашей жизни должно быть так.

Следующие несколько недель мы пользовались гостеприимством друзей Роберта, которые давали нам приют, – преимущественно Патрика и Маргарет Кеннеди, в чьей квартире на Уэверли-авеню мы провели свою первую ночь. Нас устроили в мансарде: на полу – матрас, по стенам развешаны рисунки Роберта, в углу – его свернутые холсты. При мне был только мой клетчатый чемодан. Не сомневаюсь, мы сильно обременяли своим присутствием эту пару: ведь с деньгами у нас было туго, а я к тому же держалась скованно. Нам очень посчастливилось, что Кеннеди делили с нами свой ужин. Ведь свои деньги мы копили, берегли каждый цент, чтобы снять собственную квартиру. Я работала в “Брентано” сверхурочно, обходилась без обеда. Подружилась с коллегой – Фрэнсис Финли. Она была очаровательной чудачкой, но ни о ком не сплетничала. Осознав, что я бедствую, она оставляла мне на столе в служебном гардеробе домашний суп в пластиковых контейнерах. Это маленькое одолжение подкрепляло мои силы и стало началом нашей долгой дружбы.



День памяти павших. 1967

Возможно, от облегчения – ведь у меня наконец-то появилось надежное пристанище – во мне что-то надломилось: физическое и психическое перенапряжение даром не прошло. Я никогда не сомневалась, что правильно поступила, отдав ребенка на удочерение, но вдруг обнаружила: не так-то легко расстаться с младенцем, которому даешь жизнь. Мной завладели отчаяние и уныние. Я столько плакала, что Роберт ласково называл меня ревушкой.

Перед лицом моей таинственной меланхолии Роберт проявил неиссякаемое терпение. Вообще-то ничто не мешало мне вернуться домой: родные любили меня и отнеслись бы с пониманием к моим переживаниям. Но возвращаться, смиренно склонив голову, мне не хотелось. У родителей хватало своих проблем, а у меня теперь появился спутник, на которого я могла положиться.

Я рассказала Роберту все без утайки. Да и как утаишь: за время беременности, поскольку таз у меня узкий, образовались сильные растяжки – кожа едва не лопалась. А когда мы впервые разделись друг перед другом, на моем животе отчетливо виднелись свежие красные шрамы крест-накрест. Постепенно благодаря участливости Роберта я перестала их стесняться – а стеснялась страшно.

Когда мы все-таки подкопили денег, Роберт стал искать нам жилье. И нашел, в трехэтажном кирпичном доме на зеленой улочке в двух шагах от Мертл. До Прэтта можно было дойти пешком. Нам предложили занять весь второй этаж с окнами на две стороны – на восток и на запад. Но состояние квартиры – не просто запущенность, а какая-то агрессивная оскверненность – меня огорошило: такого я доныне не видывала. Стены были измазаны кровью и исписаны психопатическими каракулями, духовка битком набита грязными шприцами, холодильник весь зарос плесенью. Роберт сговорился с хозяином – согласился сам сделать ремонт и навести порядок взамен на то, что мы внесем залог в размере месячной арендной платы, а не двухмесячной, как обычно полагалось. За квартиру мы платили восемьдесят долларов в месяц. Чтобы вселиться на Холл-стрит, 160, мы выложили сто шестьдесят долларов – залог и деньги за первый месяц. Это совпадение чисел показалось нам добрым знаком.

Улица была узкая, с приземистыми кирпичными постройками, по которым вился плющ, – гаражами, перестроенными из конюшен. В двух шагах – закусовая, телефонная будка и магазин “Художественные принадлежности Джейка” (он был на углу нашей улицы и Сент-Джеймс-сквер). На наш этаж вела темная узкая лестница с арочной нишей, но, распахнув дверь, ты попадал в кухню, озаренную солнцем. Над мойкой – окна, за окнами – огромная белая шелковица. Окна спальни выходили на улицу, потолок украшали вычурные медальоны – нетронутая лепнина рубежа веков. Роберт обещал мне создать уют и сдержал слово: не жалел сил, чтобы квартира стала нашим настоящим домом. Для начала отмыл загаженную плиту, содрал с нее стальной мочалкой грязную коросту. Полы натер воском, окна отдраил, стены побелил.

Наши скудные пожитки были свалены посреди будущей спальни. На ночь мы подстлали себе плащи вместо матраса. В день, когда в нашем районе вывозили мусор<sup>24</sup>, вышли на промысел и, как по волшебству, нашли все необходимое. Уличный фонарь выхватил из мрака бесхозный матрас, маленький книжный шкаф, почти исправные настольные лампы, керамические миски, образа Спасителя и Пресвятой Девы в кривых, но богато украшенных рамах. Для моего уголка нашего общего мира отыскался потрепанный персидский ковер.

Матрас я помыла с питьевой содой. Роберт заменил провода ламп, смастерил из пергаментной бумаги абажуры и сам их разрисовал: получилось что-то похожее на татуировки. Руки у него были золотые: он и в детстве мастерил ожерелья для мамы. Несколько дней он проводился с занавеской из бус: нанизал все на новые нити и завесил вход в спальню. Сначала я смотрела на занавеску скептически – таких штук у меня отродясь не бывало. Но в итоге привыкла – обнаружила, что занавеска созвучна цыганским струнам моей души.

Я съездила в Нью-Джерси за своими книгами и одеждой. В мое отсутствие Роберт развешил по стенам свои рисунки и задрапировал стены индийскими тканями. На каминной доске расставил, точно на алтаре, религиозные артефакты и мексиканские сувениры с Дня поминовения усопших. И наконец, устроил для меня кабинет с маленьким рабочим столом и обтрепанным ковром-самолетом.

Мы объединили свои пожитки. Моя скудная коллекция пластинок поселилась вместе с его пластинками в ящике из-под апельсинов. Мое зимнее пальто и его овчинная жилетка повисли на вешалке рядом. Мой брат подарил нам новую иголку для проигрывателя, мама прислала сэндвичи с фрикадельками, завернутые в фольгу. Мы ели сэндвичи и радостно слушали

---

<sup>24</sup> Крупногабаритный мусор в Нью-Йорке вывозили в определенный день недели.

Тима Хардина, и его песни становились нашими, рассказывали о нашей юной любви. Мама прислала еще и узел с простынями и наволочками: мягкими, привычными, залоснившимися – ими пользовались много лет. Вспомнилась мама: как она стоит во дворе и удовлетворенно оглядывает простыни на веревке, трепещущие в солнечных лучах.

Мои сокровища и грязное белье валялись вперемешку. Рабочий уголок тонул в моих рукописях и замшелых томах классиков, в талисманах и сломанных игрушках. На стену над самодельным столом я наклеила портреты Рембо, Боба Дилана, Лотте Ленья<sup>25</sup>, Пиаф, Жене и Джона Леннона, на столе расположила тетради, чернильницу и перья. Этакая келья монашки-неряхи.

В Нью-Йорк я не взяла с собой ничего, кроме нескольких цветных карандашей и деревянной дощечки, служившей мне этюдником. Как-то я нарисовала девушку у стола с разложенными картами – девушку, гадающую на картах о своей судьбе. Мне было нечего показать Роберту, кроме этого рисунка. Но ему очень понравилось. Роберт захотел, чтобы я попробовала рисовать на хорошей бумаге хорошими карандашами, и поделился со мной своими. Мы часами работали бок о бок, в состоянии синхронной сосредоточенности.

Мы были бедны, но счастливы. Роберт работал на полставки и прибирался в квартире. Я взяла на себя стирку и приготовление еды, вот только готовить было особо не из чего. Часто мы ходили в итальянскую булочную около Уэверли-авеню и долго выбирали: вчерашний батон или четверть фунта черствого уцененного печенья “Вертушки”? Печенье часто побеждало: Роберт был большой сластена. Иногда продавщица бесплатно подсыпала нам печенья – с добродушным укором покачивая головой, доверху наполняла маленький бумажный пакет желто-коричневыми кругляшами. Наверно, догадывалась: вот и весь наш ужин. К печенью мы брали кофе навынос и пакет молока. Роберт любил шоколадное молоко, но оно стоило дороже, и мы долго размышляли, можем ли выложить лишние десять центов.

У нас было наше творчество и мы сами. Не было денег на билеты в кино или на концерты, не на что было купить новые пластинки, но мы просто слушали старые, снова и снова. Мою “Мадам Баттерфляй”, в заглавной партии Элинор Стебер. “A Love Supreme”. “Between the Buttons”<sup>26</sup>. Джоан Баэз. “Blonde on Blonde”. Роберт приобщил меня к своим любимцам – группе *Vanilla Fudge*, Тиму Бакли, Тиму Хардину, а под его альбом “History of Motown” мы ночами доставляли друг другу радость.

---

<sup>25</sup> *Лотте Ленья* (1898–1981) – уроженка Австрии, работала как актриса и певица в Германии, а затем в США. Впервые получила известность благодаря роли в “Трехгрошовой опере”. Была замужем за композитором Куртом Вайлем. Массовый зритель помнит ее по роли Розы Клабб в фильме “Из России с любовью”.

<sup>26</sup> Альбом *The Rolling Stones*.



Первый портрет. Бруклин

Однажды в дни бабьего лета мы нарядились в свои самые любимые вещи: я накинула свои драные шали и обулась в битниковские сандалии, а Роберт надел овчинную жилетку и обвешался фенечками. Мы доехали на метро до Западной Четвертой улицы и провели день на Вашингтон-сквер. Попивали кофе из термоса и смотрели, как текут мимо потоки туристов, торчков, фолк-рокеров. Пылкие революционеры раздавали антивоенные листовки. Шах-

матисты, окруженные болельщиками, переставляли фигуры. Самые разные люди соседствовали здесь, и звуковой фон получался общий: сливались вместе гневные голоса агитаторов, стук маракасов и лай собак.

Мы шли к фонтану – эпицентру местной жизни, и тут какая-то немолодая пара остановилась, бесцеремонно на нас уставилась. Роберт обожал находиться в центре внимания. Он ласково сжал мою руку.

– Скорее, сфотографируй их, – сказала женщина своему озадаченному мужу. – Они наверняка художники.

– Тоже скажешь, “художники”, – отмахнулся муж. – Просто дети какие-то...

Листья окрасились в золотой и алый. На крылечках таунхаусов на Клинтон-авеню появились тыквы со свечками внутри. По вечерам мы гуляли. Иногда удавалось заметить в небе Венеру. Звезду пастухов, звезду любви. Роберт звал ее “Наша синяя звезда”. Придумал себе новую подпись – вместо буквы “т” рисовал звездочку. Тщательно практиковался. А расписывался синими чернилами, чтобы мне крепче запомнилось.

Я постепенно узнавала его. Во мне и в своем творчестве он был уверен стопроцентно, но бесконечно беспокоился, что будет с нами дальше, откуда взять денег, как мы выживем. Я же считала, что такие заботы нам пока не по возрасту – мы же молодые. Была счастлива уже потому, что свободна. А Роберта обескураживала наша бытовая неустроенность, хотя я как умела старалась его успокоить.

Он искал себя – и сознательно и подсознательно. Вступил в новую фазу метаморфозы. Сбросил с себя кожу студента вместе с мундиром будущего офицера-резервиста, а заодно отшвырнул и стипендию, и шансы на карьеру дизайнера, и отцовские надежды. Когда-то семнадцатилетний Роберт помешался на престижном имидже “Стрелков Першинга”<sup>27</sup>: их медных пуговицах, надраенных ботинках, позуमेंтах и эполетах. Его заворожила форма, и только форма – как раньше сутана алтарника позвала прислуживать в церкви.

Но он служил искусству, а не стране или церкви. Фенечки, джинсы и овчинная жилетка были для него не маскарадом, а символами свободы.

После работы я встречалась с ним на Нижнем Манхэттене, и мы гуляли под желтым фильтрованным светом Ист-Виллидж, прохаживались мимо “Филмор-Ист”<sup>28</sup> и “Электрик серкус” – по местам нашей первой совместной прогулки.

Как здорово было просто постоять у священных дверей “Бердленда”, где витала благодать Колтрейна, или у “Файв спот” на Сент-Марк-плейс, где когда-то пела Билли Холидей, где Эрик Дольфи и Орнетт Коулмен, точно два живых молотка, разбили раковину, в которой джаз прятался от мира, впустили в нее вольный воздух.

В клубы мы попасть не могли – не было денег. А вот в музеи иногда ходили. Поодиночке – два билета были для нас невыносимой роскошью. Я шла на выставку, смотрела и потом пересказывала все Роберту. Или он шел, смотрел и пересказывал мне.

Однажды мы отправились в Музей Уитни на Аппер-Ист-Сайд – он совсем недавно появился. Очередь была моя, и я неохотно переступила порог. Что там экспонировалось, я давно уже позабыла, зато отлично помню, как выглядывала в окно музея – оригинальное, в форме трапеции – и видела на той стороне улицы Роберта: он стоял и курил, прислонившись к счетчику на автостоянке.

Он дождался меня, а когда мы возвращались к метро, сказал:

– Однажды мы войдем туда вместе и работы там будут висеть наши.

---

<sup>27</sup> “Стрелки Першинга” – военизированная организация для студентов, основанная в 1894 году Джоном Дж. Першингом, позднее известным генералом армии США.

<sup>28</sup> “Филмор-Ист” – концертный зал, существовал с 1968 по 1971 год. Там выступали самые знаменитые рок-группы того периода.

Через несколько дней Роберт сделал мне сюрприз – впервые повел меня в кино. Кто-то из сослуживцев подарил ему две проходки на пресс-показ фильма Ричарда Лестера “Как я выиграл войну”, где одну из главных ролей – солдата Грипвида – сыграл Леннон. Я восторженно смотрела на Леннона, но Роберт весь фильм проспал, уткнувшись в мое плечо. Его мало занимал кинематограф. Впрочем, любимый фильм у него был – “Великолепие в траве”<sup>29</sup>.

В тот год мы были в кино лишь дважды, второй раз – на “Бонни и Клайде”. Роберту понравилась аннотация на афише: “Они молоды, влюблены и грабят банки”. На этом фильме он не заснул. Зато прослезился. Когда мы возвращались домой, он как-то необычно притих и смотрел на меня так, словно пытался без слов излить все свои чувства. В этом фильме он разглядел что-то о нас двоих, но что именно, я не понимала. “Внутри него целая вселенная, которую мне только предстоит узнать”, – сказала я себе.

Четвертого ноября Роберту исполнился двадцать один год. Я подарила ему тяжелый серебряный браслет с пластиной для группы крови, который отыскала в ломбарде на Сорок второй улице. На пластине заказала гравировку “Роберт Патти синяя звезда”. Синяя звезда нашей судьбы.

Вечер мы провели тихо, перелистывая альбомы по искусству. В моей коллекции были Де Кунинг, Дюбюффе, Диего Ривера, монография о Поллоке и небольшая стопка журналов “Арт интернейшнл”. У Роберта имелись огромные подарочные альбомы из “Брентано”: “Искусство тантрического буддизма”, “Микеланджело”, “Сюрреализм”, “Эротика в искусстве”. Мы вместе обогатили библиотеку каталогами выставок Джона Грэхема<sup>30</sup>, Аршиля Горки<sup>31</sup>, Джозефа Корнелла<sup>32</sup> и Рона Б. Китая<sup>33</sup> – купили их в букинистическом, вся стопка обошлась в доллар.

Главным нашим сокровищем были книги Блейка. У меня было очень красивое репринтное издание “Песен невинности и опыта”, и я часто читала его Роберту вслух на сон грядущий. Еще у меня были избранные сочинения Блейка, отпечатанные на пергаментной бумаге, а у Роберта – “Мильтон” Блейка в издании “Трианон-пресс”. Мы оба любовались портретом рано умершего Роберта Блейка, брата Уильяма, – он был изображен со звездой у ног. Мы заимствовали для своих работ колорит Блейка: розовый, мшисто-зеленый, кадмий желтый и кадмий красный – тона, которые словно бы светились.

Как-то раз в конце ноября Роберт вернулся с работы сам не свой. В его отделе “Брентано” продавались гравюры, в том числе оттиск с подлинной доски из книги Блейка “Америка: пророчество”. Оттиск был на листе с водяным знаком в виде монограммы Блейка.

В тот день Роберт вынул этот лист из папки и спрятал на себе – засунул под брюки. Вообще-то Роберт обычно ничего не воровал – просто не мог, нервы у него были слишком слабые. Но эту гравюру присвоил, поддавшись какому-то внезапному порыву, – во имя нашей общей любви к Блейку. Под конец рабочего дня Роберт запаниковал: ему мерещилось, что кражу уже заметили и он разоблачен. Он шмыгнул в туалет, достал гравюру, изорвал в клочья и спустил в унитаз. Когда он рассказывал мне об этом, руки у него заметно дрожали. Он промок под дождем, с густых кудрей капала вода, белая рубашка облепила тело. Роберт был никудышным вором – совсем как Жан Жене, который погорел на краже рулона шелка и редких изданий

<sup>29</sup> “Великолепие в траве” (1961) – фильм режиссера Элии Казана.

<sup>30</sup> Джон Д. Грэхем (он же Иван Грацианович Домбровский; 1886–1961) – американский художник-модернист, уроженец Киева, участник Первой мировой войны. В 1920 году эмигрировал в США.

<sup>31</sup> Аршиль Горки (настоящее имя Востаник Манук Адоян; 1904–1948) – американский художник армянского происхождения, один из основоположников школы абстрактного сюрреализма. Фамилию Горки взял себе в честь своего любимого писателя Максима Горького.

<sup>32</sup> Джозеф Корнелл (1903–1972) – американский художник и скульптор, один из основоположников техники ассамбляжа.

<sup>33</sup> Рон Б. Китай (1932–2007) – американский живописец и график, видная фигура поп-арта.

Пруста<sup>34</sup>. Да уж, два вора-эстета. Я легко могла себе представить, какой ужас, смешанный с чувством триумфа, испытал Роберт, когда обрывки Блейка, покачиваясь на волнах, уплыли в нью-йоркскую канализацию.

Мы взглянули на свои руки – руки, сцепленные вместе. Глубоко вздохнули в унисон, смиряясь с тем, что сделались соучастниками не просто кражи (это бы еще туда-сюда), но уничтожения шедевра.

– И все-таки хорошо, что он не достался им, – сказал Роберт.

– Кому – “им”?

– Всем, кроме нас с тобой.

Из “Брентано” Роберта уволили. Оставшись без работы, он убивал время, неустанно преобразя наше жилище. Когда он покрасил стены на кухне, я так обрадовалась, что приготовила нам особенное угощение. Сварила кускус с анчоусами и изюмом и свой коронный суп из салата латука. Этот деликатес представлял собой всего лишь куриный бульон, украшенный листьями салата.

Но вскоре уволили и меня. Я не взяла с покупателя-китайца налог с продажи очень дорогой статуи Будды.

– Я не американский гражданин, почему я должен платить налог? – вопрошал китаец.

Я не знала, что ответить, и продала ему Будду без налога. Это решение стоило мне рабочего места, но я не огорчилась. Лучшее, что дал мне “Брентано”, – это персидское ожерелье и знакомство с Робертом. А Роберт сдержал слово – никому не подарил ожерелье, прибор для меня. В нашу первую ночь вдвоем на Холл-стрит он вручил мне эту бесценную вещь, завернутую в лиловую салфетку и перевязанную черной атласной лентой.

\* \* \*

Шли годы, и ожерелье кочевало – от меня к Роберту и обратно. Кому оно было нужнее, тот им и владел. Наши отношения регулировались неписанным кодексом со множеством правил. Это была как бы игра, но игра всерьез. Самое непреложное правило называлось “Посменное дежурство”. И означало оно, что в любой день и момент кто-то один из нас всегда должен держать ухо востро, оберегать другого. Если Роберт принимал наркотики, я должна была при этом присутствовать и бодрствовать. Если меня брала тоска, Роберту не разрешалось падать духом. Если кто-то заболел, другой оставался на ногах. Главное – чтобы мы никогда не потворствовали своим капризам одновременно.

Первое время именно я пребывала в мрачном настроении, но Роберт всегда подставлял мне плечо: обнимал, говорил что-нибудь подбадривающее, уговаривал не заикливаться на переживаниях и поработать. Но он знал: если ему понадобится на меня опереться, я тоже не подведу.

Роберт нашел работу на полную ставку – стал оформителем витрин в “Эф. Эй. Оу. Шварц”. На праздничный сезон туда брали временных работников, и я тоже устроилась кассиршей. Приближалось Рождество, но за кулисами этого знаменитого магазина игрушек никаким волшебством и не пахло: зарплата нищенская, рабочий день – долгий. Атмосфера была удручающая: сотрудникам не разрешали ни разговаривать между собой, ни даже вместе ходить обедать. Мы с Робертом встречались тайно, урывками – обычно у рождественского вертепа, устроенного на постаменте из сена. Там я спасла из мусорного ведра крохотного рождественского ягненка, а Роберт пообещал куда-нибудь его приспособить.

---

<sup>34</sup> По некоторым источникам, в 1941 году Жене украл рулон материи у портного, и тот погнался за ним. От портного Жене удрал, однако близ Нотр-Дам его сцапал букинист, у которого он ранее стащил книгу Пруста.

Роберту нравились коробки Джозефа Корнелла. Сам Роберт тоже часто сооружал настоящие “стихи для глаз” из всевозможного случайного хлама: цветных лент, бумажных кружев, найденных на помойке четок, лоскутков, бусин. Корпел над работой за полночь: кроил, сшивал, клеил, что-то подкрашивал гуашью. Наутро, когда я просыпалась, меня ждала этакая валентинка – готовая коробка в технике ассамбляжа. Для маленького ягненка Роберт смастерил деревянные ясли. Покрасил в белый цвет, нарисовал кровоточащее Сердце Иисуса, и мы исписали ясли священными цифрами, переплетенными, как лоза. Эта одухотворенно-красивая вещица послужила нам рождественской елкой. Вокруг нее мы разложили свои подарки друг другу.

В сочельник мы допоздна задержались на работе, а затем поехали на автобусе в Южный Джерси. Роберт страшно боялся знакомиться с моими родными, так как со своими тогда прервал все контакты. На автовокзале нас встретил мой отец. Моему брату Тодду Роберт подарил свой рисунок – птицу, вылетающую из цветка. Мы привезли наши самодельные открытки, а моей младшей сестре Кимберли – книги.

Чтобы успокоить нервы, Роберт решил принять ЛСД. Я никогда бы не подумала заявляться к своим родителям под кайфом, но для Роберта этот поступок был, пожалуй, естественным. Всем моим родным Роберт понравился; ничего необычного они не подметили – кроме того, что он все время улыбался. Роберт осмотрел мамину колоссальную коллекцию безделушек, где преобладали разнообразные коровы. Больше всего его пленила раскрашенная под мрамор конфетница с лиловой коровой на крышке. Роберт глаз от нее не мог отвести – наверно, его измененное сознание различало тончайшие переливы глазури.

Вечером следующего дня мы откланялись, и мама вручила Роберту пакет со своими традиционными подарками для меня – биографиями и книгами по искусству.

– Для тебя там тоже кое-что есть, – сказала она, подмигнув Роберту.

Когда мы сели в автобус, Роберт открыл пакет и обнаружил лиловую корову-конфетницу, завернутую в клетчатое кухонное полотенце. И очень обрадовался – кстати, спустя много лет, после его смерти, корова обнаружилась у него в серванте среди самых дорогих итальянских ваз.

В качестве подарка на двадцатидюлетие Роберт смастерил мне тамбурин: на козьей шкуре вытатуировал астрологические символы, к раме привязал разноцветные ленточки. Поставил Тима Бакли – песню “Phantasmagoria in Two”, а потом преклонил колени и вручил мне маленькую книгу о картах таро, которую заново переплел в черный шелк. На титульном листе он написал несколько стихотворных строк, где именовал нас цыганкой и безумцем: цыганка требует тишины, а безумец в тишину внимательно вслушивается. Переменчивый водоворот нашей жизни заставил нас много раз меняться этими ролями.

На следующий день был канун Нового года. Мы впервые встречали его вместе. Мы дали себе новые обеты. Роберт решил взять кредит на учебу и вернуться в Прэтт, но не для того, чтобы изучать дизайн, как хотел его отец, а чтобы всецело посвятить себя искусству. Он написал мне специальное письмо. Написал, что мы будем творить вместе и пробьемся – а пойдет ли по нашим стопам весь остальной мир, уже не важно.

Со своей стороны, я молча пообещала, что помогу Роберту достичь цели, обеспечивая его бытовые потребности. После праздников я уволилась из игрушечного магазина и недолгое время оставалась без работы. Это ударило по нашему карману, но я не желала возвращаться в клетку с кассовым аппаратом. Твердо решила найти более высоко оплачиваемую и не столь отупляющую работу. Когда меня взяли в книжный магазин “Аргози” на Пятьдесят девятой улице, я подумала, что мне очень повезло. Магазин торговал старинными и редкими книгами, гравюрами и картами. Вакансий продавцов не было, но старик управляющий взял меня ученицей реставратора. Должно быть, его обмануло мое рвение. Я села за массивный стол из темного дерева, заваленный библиями восемнадцатого века, полосками льна, рулонами специальной клейкой ленты для документов и особыми переплетными иглами, флакончиками кроличьего

клея и пчелиным воском. Села и обомлела. К сожалению, для такой работы я совершенно не годилась, и старик смущенно сказал, что вынужден меня уволить.



На Холл-стрит. Бруклин, 1968

Домой я вернулась в печали. Нас ожидала тяжелая зима.

Работа на полный день в “Шварце” удручала Роберта. Правда, оформление витрин будило в нем фантазию, и он делал эскизы собственных инсталляций. Но рисовал он все меньше и меньше. Питались мы вчерашним хлебом и тушенкой. По бедности не могли никуда сходить, жили без телевизора, без телефона, без радио. Но проигрыватель у нас был, и мы колдовали над ручкой звукоснимателя, чтобы выбранная пластинка повторялась снова, и снова, и снова – убаюкивая нас.

\* \* \*

Мне надо было опять куда-то устраиваться. Мою подругу Дженет Хэмилл взяли в книжный магазин “Скрибнерз”, и она вновь, как и в колледже, нашла способ мне помочь, поделиться своим счастьем. Она поговорила с начальством, и мне предложили место. Мне показалось, что исполнилась моя заветная мечта – ведь это был фирменный магазин престижного издательства, где публиковались Хемингуэй и Фитцджеральд и работал их редактор, великий Максвелл Перкинс. В “Скрибнерз” заходили за книгами представители клана Ротшильдов, а на лестнице висели картины Максфилда Пэрриша<sup>35</sup>.

“Скрибнерз” находился в доме 597 на Пятой авеню – в великолепном здании, настоящим памятнике архитектуры. Застекленный фасад в стиле ар-нуво спроектировал в 1913 году Эрнест Флэгг. Бескрайняя стеклянная гладь, изящные железные конструкции, а внутри – торговый зал высотой в два с половиной этажа под куполом с окнами-фонарями. Каждый день я вставала, одевалась в подобающем стиле и ехала на метро с тремя пересадками до “Рокфеллер-центр”. Наряд для работы в “Скрибнерз” я позаимствовала у Анны Карины в фильме “Посторонние”<sup>36</sup> – темный свитер, клочатая юбка, черные колготки, туфли на плоской подошве. Я дежурила у телефона под началом добросердечной и участливой Фейт Кросс. И считала: работать в столь легендарном магазине – для меня огромная удача. Платили мне больше, чем на прежней работе, рядом была родная душа – Дженет. Скучала я редко, но если работа приедалась, писала стихи на картонных коробках или на оборотной стороне листов почтовой бумаги с логотипом “Скрибнерз” – совсем как Том в “Стеклянном зверинце”.

Роберт все больше мрачнел. Рабочий день был долгий, а платили меньше, чем за работу на полставки в “Брентано”. Домой он приходил измотанный и подавленный, одно время вообще забросил творчество.

Я умоляла его уволиться. Его должность и скудная зарплата не стоили таких жертв. Много ночей мы спорили, пока он не согласился скрепя сердце. После этого он стал трудиться над своими произведениями не покладая рук – каждый раз спешил мне показать, чего добился, пока я была в “Скрибнерз”. Я не жалела, что взяла на себя роль кормильца семьи. У меня нервы были крепче, и своим творчеством я могла спокойно заниматься по вечерам. Я гордилась, что создаю Роберту условия для работы: пусть творит, ничем не жертвуя.

Вечером я устало плелась по снегу. Роберт ждал меня в квартире и сразу принимался растирать мне замерзшие руки. Казалось, он ни минуты не сидит спокойно: кипятил чайник, расшнуровывает мне ботинки, вешает мое пальто, а одним глазом все время поглядывает на рисунок, над которым работает. Если что-то подмечает, на минутку отвлекается от других дел, чтобы поправить. Обычно у меня было ощущение, что в его сознании произведение уже совершенно завершено. Импровизации были не в его характере. Скорее он воплощал то, что открывалось ему в одно мгновение.

---

<sup>35</sup> Максфилд Пэрриш (1870–1966) – американский художник и иллюстратор, работал в стиле неоклассицизма.

<sup>36</sup> “Посторонние”, или “Банда аутсайдеров” (“Bande à part”) – фильм Жана-Люка Годара 1964 года.

Весь день он проводил в молчании, а вечером жадно слушал мои рассказы про эксцентричных посетителей магазина: об Эдварде Гори<sup>37</sup> в великанских теннисных туфлях или о Кэтрин Хепберн в шляпе, как у Спенсера Трейси, подвязанной зеленым шелковым платком, или о Ротшильдах в длинных черных пальто. Потом мы усаживались на пол и ужинали макаронами, рассматривая новые работы Роберта. Его творчество меня увлекало: визуальный язык Роберта был близок к вербальному языку моих стихов, хотя, казалось, мы ставили перед собой разные задачи. Роберт всегда говорил мне: “Ни одна моя работа не завершена, пока ты ее не увидишь”.

Наша первая зима вместе была нелегкой. Даже моей зарплаты в “Скрибнерз” едва хватало на жизнь. Часто мы останавливались на углу Сент-Джеймс-плейс и, поглядывая то на греческую закусочную, то на “Художественные принадлежности Джейка”, ежась от холода, спорили, как распорядиться нашей пригоршней долларов: бросали монетку, выбирая между горячими сырными бутербродами и материалами для работы. Иногда Роберту так и не удавалось установить, какой голод острее, и тогда он нервно дожидался меня в закусочной, пока я, одержимая духом Жене, воровала срочно необходимую нам медную точилку или цветные карандаши.

Я более романтично, чем Роберт, смотрела на жизнь художников и их самопожертвование. Где-то вычитала, что Ли Краснер воровала краски для Джексона Поллока. Не знаю, правда ли эта история, но тогда она меня вдохновляла. Роберт печалился, что не может нас прокормить. “Не волнуйся, – говорила я, – служение великому искусству – само по себе награда”.

Вечерами мы крутили на нашем раздолбанном проигрывателе пластинки, под которые нам нравилось рисовать. Иногда играли в “Диск вечера”. Ставили конверт от альбома на самое видное место на каминную доску. И крутили диск снова и снова, и музыка вплеталась в события вечера.

Меня не смущало, что моих работ никто не знает, – я ведь еще только училась. Но Роберт – этот застенчивый молчун, который, казалось, топтался на месте, пока окружающие преуспевали, – был очень честолюбив. Он брал пример с Дюшана и Уорхола. Хотел попасть и на вершины искусства, и в высшие слои общества. Мы были занятой парой – “Смешная мордашка”<sup>38</sup> и Фауст.

Мы испытывали невообразимое счастье, когда вместе занимались рисованием. На много часов погружались в свой мир. Я заразилась от Роберта его способностью надолго сосредоточиваться, училась у него, работая бок о бок с ним. А в перерывах кипятила чайник и делала нам растворимый кофе.

После особенно плодотворного периода работы мы шли гулять на Мертл-авеню, искали любимое лакомство Роберта – “Молломарс”, печенье с зефиром в черном шоколаде, – и обжигались.

Почти все свободное время мы проводили вместе, но нельзя сказать, что мы замкнулись друг на друге. К нам заходили друзья. Художники Харви Паркс и Луи Дельсарт иногда работали вместе с нами, устроившись на полу. Луи написал портреты нас обоих, Роберта в индийских бусах и еще один мой, с зажмуренными глазами. Эд Хансен делился с нами мудростью и коллажами, Дженет Хэмилл читала нам свои стихи. Я показывала свои рисунки и рассказывала о них истории – так Венди развлекала потерянных мальчиков в стране Нетинебудет. Даже в либеральной среде художественного института мы были компанией аутсайдеров. Часто мы шутили, что у нас “Салон неудачников”. По особым случаям Харви, Луи и Роберт пускали по кругу косяк и колотили в ручные барабаны. У Роберта была собственная табла<sup>39</sup>. Под бой

---

<sup>37</sup> Эдвард Гори (1925–2000) – американский писатель и художник, автор макабрических иллюстрированных книг.

<sup>38</sup> “Смешная мордашка” (1957) – фильм, где Одри Хепберн играет серьезную девушку, которая работает в книжном магазине и страстно увлекается философией.

<sup>39</sup> Табла – индийский ударный музыкальный инструмент, представляет собой два барабана, большой и маленький.

барабанов они зачитывали отрывки из “Психоделических молитв” Тимоти Лири – одной из немногих книг, которую Роберт прочел от корки до корки. Изредка я гадала им на картах, руководствуясь системой Папюса и собственной интуицией. В Южном Джерси у меня никогда не бывало таких вечеров, полных нежности и чудачеств.

В моей жизни появилась новая подруга. Роберт познакомил меня с Джуди Линн, своей однокурсницей с отделения графики, и мы сразу друг дружке понравились. Джуди жила прямо за углом, на Мертл-авеню, над прачечной самообслуживания, куда я ходила стирать. Она была умница и красавица с оригинальным чувством юмора, этакая Ида Лупино в молодости. В итоге Джуди занялась фотографией и много лет оттачивала свои особые методы обработки фотоснимков. Мало-помалу я стала ей позировать. Это Джуди сделала несколько самых ранних снимков, где Роберт и я вместе.

На Валентинов день Роберт подарил мне светло-лиловую аметистовую жеоду величиной почти что с половинку грейпфрута. Роберт положил ее в воду, и мы долго всматривались в мерцание кристаллов. В детстве я мечтала стать геологом. Я рассказала, как часами разыскивала образцы горных пород, как разгуливала со старым молотком, привязанным к поясу.

– О нет, Патти, нет! – засмеялся он.

Я подарила ему сердечко из слоновой кости с вырезанным посередине крестом. Эта вещица почему-то побудила его вспомнить вслух о своем детстве – редкий случай! – и он рассказал, как вместе с другими алтарниками потихоньку рылся в церковной кладовой и пил вино, предназначенное для причастия. Влекло его тогда не вино, а какое-то необычное ощущение: от сладости запретных проделок приятно замирало сердце.

В начале марта Роберт получил временную работу билетера в “Филмор-Ист”, который открылся совсем недавно. На работу он ходил в оранжевом комбинезоне.

Он с нетерпением ждал концерта Тима Бакли. Но, вернувшись домой, сообщил, что лучше всех там играл не Бакли.

– Она станет настоящей звездой, – объявил он. Это было сказано о Дженис Джоплин.

Концерты были нам не по карману, но за время своей недолгой работы в “Филмор” Роберт достал мне проходку на *The Doors*. Меня слегка мучила совесть, что я иду на эту группу без Дженет: ведь мы с ней не могли послушаться их первым альбомом. И вот в зале, глядя на Джима Моррисона, я поймала себя на неожиданной реакции. Все вокруг словно бы погрузились в транс, я же почувствовала себя бесстрастным зорким наблюдателем – спокойно фиксировала у себя в голове каждое движение вокалиста. Это ощущение запомнилось мне намного отчетливее, чем сам концерт. Глядя на Моррисона, я ощутила, что тоже так могу. Как залетела мне в голову эта мысль? Понятия не имею. Мой предыдущий опыт не давал никаких оснований предполагать, что я вообще способна исполнять музыку на сцене, но во мне зыграла спесь. Я чувствовала духовное родство с Моррисоном и в то же время презирала его. Ощущала: он одновременно зажат и непоколебимо в себе уверен. От него исходила аура красоты пополам с самобичеванием и мистическими страданиями: этакий святой Себастьян с Западного побережья. Когда меня спрашивали: “Ну как тебе концерт “Дорзов”?”, я просто отвечала: “Отлично”. Немного стеснялась своих ощущений от концерта.

Тогда меня преследовала строчка из “Стихов: пенни за штуку” Джеймса Джойса: “Глумливых взглядов череда ведет меня сквозь города”<sup>40</sup>. Она всплыла у меня в голове через несколько недель после концерта *The Doors*, и я процитировала ее Эду Хансену. Эд всегда мне был симпатичен. Я считала, что внешне он похож на художника Сутина: невысокий крепыш в коричневом пальто, ширококоротый, светло-каштановые волосы, озорные глаза. Однажды он

---

<sup>40</sup> Перевод Григория Кружкова.

попал в переделку: на Декалб-авеню малолетние хулиганы обстреляли его из пистолета и продырявили легкое. Но даже после этого Эд сохранил свою ребячливость.

О джойсовской строке Эд ничего не сказал, но однажды принес мне диск *The Byrds*.

– Эта песня сыграет для тебя важную роль, – сказал он и опустил иголку на “So You Want to Be a Rock 'N' Roll Star”.

Эта песня что-то во мне всколыхнула, растравила душу, но я так и не взяла в толк, зачем Эд мне ее принес.

Однажды зимней ночью 1968 года кто-то постучался к нам и сказал, что с Эдом беда. Мы с Робертом пошли его искать. Я прихватила черного игрушечного ягненка, подарок Роберта. Подарок от паршивой овцы паршивой овце. Эд сам был в некотором роде паршивая овца, так что я прихватила игрушку как талисман, для утешения.

Эд забрался на стрелу башенного крана, высоко-высоко, и отказывался спускаться. Ночь была холодная и ясная; пока Роберт разговаривал с Эдом, я взобралась на кран и дала Эду ягненка. Эд дрожал. Мы были “бунтари без причины”, а Эд – нашим бедолагой Сэлом Минео. Такой вот Гриффит-парк в Бруклине<sup>41</sup>.

Эд спустился вслед за мной, и Роберт проводил его домой.

– За ягненка не переживай, – сказал он, когда вернулся. – Найду тебе другого.

Мы потеряли связь с Эдом, но через десять лет он самым непредвиденным образом всплыл в моей жизни. Я подошла с электрогитарой к микрофону, открыла рот, собираясь запеть: “So you want to be a rock'n'roll star”, и вдруг мне вспомнились слова Эда. Его незамысловатое пророчество.

\* \* \*

Выпадали дни, серые дождливые дни, когда Бруклин так и просился на фотографию: каждое окно – объектив репортерской “Лейки”, пейзаж в раме – неподвижный и зернистый. Мы хватали бумагу и цветные карандаши и принимались рисовать в каком-то трансе, точно полоумные дети, допоздна, пока, выдохшись, не падали на постель. Лежали обнявшись, тогда еще неловкие, но счастливые, восторженно расцеловывали друг друга по очереди и, наконец, погружались в сон.

Юноша, с которым я повстречалась, был застенчив и не мастак говорить. Ему нравилось быть ведомым – чтобы его взяли за руку и завлекли в другой мир, которому он отдавался всей душой. Он был настоящий мужчина, защитник, что не мешало ему быть женственным и покорным. Одежда и поведение – сама чистоплотность, но в творчестве он был способен на ужасающий хаос. А в его личной вселенной царили одиночество и риск – и предвкушение свободы, экстаза, раскрепощения.

Иногда проснусь ночью и вижу: он работает в тусклом освещении церковных свечей. Наносит на рисунок новые штрихи, поворачивает лист то так, то сяк – рассматривает во всех возможных ракурсах. Задумчивый, озабоченный, он поднимал глаза, перехватывал мой взгляд... И улыбался мне. Эта улыбка прорывалась у него сквозь все другие чувства и заботы. Даже когда миновало много лет и он был при смерти, испытывал адские боли.

Когда магия и религия воюют между собой, магия все же рано или поздно побеждает, правда ведь? Возможно, когда-то между жрецом и священником не было разницы, но священник стал учиться смирать себя перед Господом и выбрал молитву, а заклинания отбросил. Но Роберт верил в магию, в закон симпатической магии: верил, что способен по своему выбору вселиться в какой-то предмет или произведение искусства и тем самым повлиять на окружаю-

---

<sup>41</sup> Отсылки к сюжету и месту действия фильма “Бунтарь без причины” (“Rebel Without a Cause”, 1955), главные роли в котором сыграли Джеймс Дин и Сэл Минео.

щий мир. Он не считал, что творчеством искупает свои грехи. Да и не стремился к искуплению. А стремился увидеть то, чего не видят другие: проекцию своей фантазии в материальном мире.

Техники, которые он использовал, казались ему чересчур монотонными и утомительными: у него в голове слишком быстро возникало готовое произведение, такое, каким ему надлежало быть. Роберту импонировала скульптура, но он считал, что ее времена прошли. И все же часами всматривался в “Рабов” Микеланджело – хотел без утомительной возни с молотком и зубилом почувствовать, каково ваять человеческие фигуры.

Он сделал наброски к мультфильму о том, как мы попадаем в Райский Сад Тантристов. Ему понадобились наши фото в обнаженном виде: он замыслил вырезать фигуры и поместить в геометрическом саду, который расцвел в его сознании. Роберт попросил своего однокурсника Ллойда Зиффа нас сфотографировать, но мне эта идея не понравилась. Не очень-то хотелось позировать: я все еще немного стеснялась шрамов на животе.

На фотографиях мы выглядели зажатыми – совсем не такими, как в воображении Роберта. У меня был старый фотоаппарат, снимавший на 35-миллиметровую пленку, и я посоветовала Роберту сделать снимки самому. Но заниматься проявкой и печатью он не мог – был слишком нетерпелив. В своих коллажах Роберт использовал столько чужих фотографий, что мне подумалось: если бы он сам снимал, то воплотил бы свои замыслы в идеальной форме.

– Вот если бы сразу спроецировать идею на фотобумагу, – возразил он. – А так, когда работа сделана лишь наполовину, я уже увлекаюсь чем-то другим.

Сад был заброшен.

Ранние работы Роберта явно были навеяны его ощущениями под кислотой. В этих рисунках и мини-инсталляциях присутствовали старомодный шарм сюрреализма и строгая геометрия тантрического искусства. Постепенно в творчество Роберта просочилась католическая символика: агнец, Иисус Христос, Пресвятая Дева.

Роберт снял со стен индийские ткани и покрасил наши старые простыни в черный и лиловый. Прикрепил их к стенам кнопками, развесил распятия и гравюры религиозного содержания. Изображения святых, вставленные в рамы, мы без труда находили на помойках или в благотворительных магазинах Армии спасения. Роберт вынимал литографии из рам и раскрашивал, а иногда включал в крупноформатные рисунки, коллажи или инсталляции.

Но Роберту хотелось сбросить с себя иго католицизма, и он углубился в мир по ту сторону святости, царство Ангела-Светоносца. Образ падшего ангела Люцифера затмил святых, которых Роберт включал в свои коллажи и коробки. На одну маленькую деревянную шкатулку он наклеил лик Христа; внутри шкатулки находилась Мадонна с Младенцем и крохотной белой розой; а на внутренней стороне крышки я с удивлением увидела голову Сатаны, который показывал мне язык.

Вернувшись домой, я заставала Роберта в бурой монашеской рясе – рясе иезуита, найденной в секунд-хенде – за изучением книг по алхимии и магии. Он просил меня приносить ему оккультную литературу. Первое время он не столько читал эти книги, сколько заимствовал из них пентаграммы и символику сатанизма: разрезал картинки на части и складывал по своему. В Роберте не было тьмы, но когда в его творчество проникли элементы мрака, он стал еще молчаливее. Увлёкся идеей картин-заклинаний – верил, что ими можно вызвать Сатану, совсем как духов. Вообразил: если он составит договор, который достучится до проблеска света в Сатане, до его первозданной чистоты, тот признает в нем родственную душу и дарует славу и богатство. Просить, чтобы Сатана сделал его гениальным художником, Роберт не собирался – считал, что и так достаточно талантлив.

– Ты хочешь словчить, сократить дорогу, – сказала я.

– А почему это я должен идти в обход? – парировал он.

В обеденный перерыв в “Скрибнерз” я иногда заходила в собор Святого Патрика – навесить образ юного святого Станислава<sup>42</sup>. Я молилась за мертвых, которых любила, наверно, так же горячо, как живых: за Рембо, за Сера, за Камиллу Клодель, за возлюбленную Жюля Лафорга.

А еще я молилась за нас с Робертом.

Роберт молился, точно желания загадывал. Жаждал тайных знаний. Мы оба молились за душу Роберта: он – за ее удачную продажу, а я – за ее спасение.

Позднее он говорил, что церковь привела его к Богу, а ЛСД – к Вселенной. А еще – что искусство привело его к дьяволу, а секс заставил при дьяволе остаться.

Некоторые знамения и предвестья были настолько жуткими, что я боялась над ними задумываться. Как-то ночью на Холл-стрит я замешкалась в дверях комнаты, где спал Роберт, и явственно увидела его растянутым на дыбе: его белая рубашка расплзлась в клочья, и сам он прямо у меня на глазах рассыпался в прах. Тут он проснулся, почувствовал мой ужас. Вскрикнул:

– Что ты видишь?

– Ничего, – ответила я и отвернулась, прогоняя видение из памяти. Но настал день, когда мне довелось держать его прах на ладони.

\* \* \*

Мы с Робертом практически не ссорились, но препирались, как малые дети, – обычно из-за того, как лучше распорядиться нашим скромным доходом. Я получала шестьдесят пять долларов в неделю, Роберт иногда где-нибудь подрабатывал. Квартира обходилась нам в восемьдесят долларов в месяц, не считая платы за воду и электричество. Каждый цент был на счету. Жетон на метро стоил двадцать центов, я совершала десять поездок в неделю. Роберт курил сигареты: тридцать пять центов пачка. Главным поводом для раздоров была моя слабость звонить по таксофону. Моя глубокая привязанность к сестрам и брату оставалась для Роберта чем-то непостижимым. Горсть монет, опущенных в таксофон, могла означать, что мы остаемся без ужина. Мама иногда вкладывала в свои письма долларовую купюру. Казалось бы, мелкий подарок. Но я знала, что этот доллар накоплен из грошовых чаевых официантки, и отдавала должное ее щедрости.

Мы любили гулять по Бауэри – разглядывали драные шелковые платья, заношенные кашемировые пальто, потертые кобухи. На Орчард-стрит выискивали недорогие, но занятные материалы для новых произведений: листы лавсановой пленки, волчья шкура, скобяные товары неясного назначения. Часами слонялись по магазину “Краски Перл” на Канал-стрит, а потом ехали на метро на Кони-Айленд – пошататься по набережным и съесть в закускойной “Нэйтанз” один хот-дог на двоих.

Роберта ужасали мои манеры за столом. Я-то замечала: чувствовала, как он мысленно ежится – отводит взгляд, наклоняет голову. Когда я ела руками, ему казалось, что я чересчур привлекаю к себе внимание. И не задумывался, в каком виде сам явился в ресторан – что сидит за столиком в вышитом овчинном жилете на голое тело, с несколькими нитками бус на шее. Обычно наши взаимные придирки кончались смехом, особенно когда я указывала на эти вопиющие неувязки. Эти застольные перебранки продолжались все годы нашей дружбы. Я так и не научилась изящным манерам, и Роберт не перестал одеваться эпатажно, просто менял один эксцентричный стиль на другой.

---

<sup>42</sup> Видимо, имеется в виду покровитель Польши – католический святой Станислав Костка. В возрасте 18 лет втайне от родителей и вопреки их воле поступил в орден иезуитов. Вскоре скоропостижно скончался.

В те времена Бруклин был настоящей окраиной. “Город”, где бурлила жизнь, казался из Бруклина очень далеким. Роберт обожал посещать Манхэттен. Пересекая Ист-ривер, он чувствовал себя так, словно восстает из мертвых, и именно на Манхэттене позднее претерпел стремительные метаморфозы как человек и художник. Я, наоборот, жила в своем собственном мире, грезила о былых, исчезнувших с лица земли временах. В детстве я потратила много часов на копирование изящных букв, из которых складывались слова Декларации независимости. Чистописание всегда меня пленяло. Теперь я смогла поставить это устаревшее искусство на службу моим собственным рисункам. Я увлеклась исламской каллиграфией и иногда, когда садилась рисовать, разворачивала салфетку, доставала персидское ожерелье и клала перед собой.

В “Скрибнерз” меня повысили по службе – перевели с телефона в отдел продаж. В тот год бестселлерами стали две диаметрально противоположные книги – “Игра на деньги” Адама Смита<sup>43</sup> и “Электропрохладительный кислотный тест” Тома Вулфа. Симптоматично: тогда наша страна во всем, что ни возьми, раскололась на два непримиримых лагеря. Но ни в книге Смита, ни в книге Вулфа я себя не узнавала. Мне было абсолютно чуждо все за пределами мира, который мы с Робертом создали вдвоем.

В минуты уныния я задавалась вопросом, зачем вообще творить. Для кого мы создаем свои произведения? Бога вдохновляем, что ли? Или просто говорим сами с собой? А в чем конечная цель? Чтобы твои работы заперли в клетке, в каком-нибудь помпезном зоопарке от искусства – в МоМА, Метрополитене, в Лувре?

Я стремилась быть искренней, но ловила себя на фальши. Зачем отдаваться искусству? Просто ради искусства? Или ради самореализации? Казалось, пустое баловство – затоваривать рынок произведениями, в которых нет никаких откровений свыше.

Часто бывало: сажусь за работу, пытаюсь что-нибудь нарисовать или сочинить, но вспомню про безумный вихрь жизни на улице, про то, что во Вьетнаме война, – и чувствую: все мои начинания – чепуха. Но я не могла отождествить себя ни с одним политическим движением. Пыталась к какому-нибудь присоединиться, но натыкалась на знакомую обескураживающую бюрократию, только в новых формах. “Есть ли хоть какой-то прок от моего творчества?” – гадала я.

Роберт не терпел моих приступов самокопания. Он, казалось, никогда не сомневался в своих творческих порывах, и на его примере я осознала, что главное – работа: поток слов, направляемый Богом, становится стихотворением, каракули черных и цветных карандашных штрихов на бумажном листе возвеличивают пути Господни. Добиться полной гармонии между твоей верой в замысел и умением его воплотить. Вот состояние души, из которого рождается светлый животворный луч.

Пикассо не замкнулся в своем мирке, когда бомбили его любимую Страну Басков. Откликнулся, написал шедевр – “Гернику”, напоминание о том, как несправедливо обошлись с его народом. Иногда я наскребала денег, шла в МоМА и часами просиживала перед “Герникой” – долгими часами рассматривала убитую лошадь и глаз лампочки, озаряющий горькие следы войны. А потом я возвращалась к своей работе.

Той весной, всего за несколько дней до Вербного воскресенья, в Мемфисе в мотеле “Лоррэйн” застрелили Мартина Лютера Кинга. В газетах появилось фото: Коретта Скотт Кинг утешает их маленькую дочку, лицо под вдовьей вуалью мокро от слез. У меня закололо в груди, совсем как в отрочестве, когда я смотрела на Жаклин Кеннеди в развевающейся черной вуали: Жаклин стояла с детьми, а мимо на гужевом лафете везли тело ее мужа. Я попыталась выра-

---

<sup>43</sup> “Игра на деньги” – книга о биржевой игре и хитростях работы трейдера на Уолл-стрит. Написана экономистом и литератором Джорджем Гудменом, который не без умысла скрылся под псевдонимом “Адам Смит” – в честь своего шотландского коллеги XVIII века.

зять свои чувства рисунком или стихами, но не смогла. Казалось, всякий раз, когда я пытаюсь рассказать о несправедливости, я никак не могу подобрать слов.

К Пасхе Роберт купил мне в подарок белое платье, но вручил его мне еще в Вербное воскресенье, чтобы я не так печалилась. Это было рваное викторианское “платье для чаепитий” из батиста. Я влюбилась в платье и носила его дома – хрупкие доспехи, хоть какая-то защита от зловещих знамений 1968-го.

Но для семейного ужина у Мэпплторпов мое пасхальное платье не годилось. В нашем скудном гардеробе вообще не нашлось ничего подходящего.

Я была совершенно независима от своих родителей. Я их любила, но меня вовсе не заботило, как они смотрят на то, что я живу с Робертом. Роберт был намного менее свободен. Он оставался сыном своих родителей, католиком, и не мог решиться на признание, что мы живем невенчанно. В моем родительском доме его приняли тепло, но он опасался – его родители встретят нас совсем иначе.

Поначалу Роберт решил, что самое лучшее – мало-помалу рассказывать родителям по телефону про меня. Потом придумал сообщить им, что мы поехали на Арубу и там втайне от всех поженились. Один его друг путешествовал по Карибам. Роберт написал своей матери письмо, и друг опустил конверт в ящик в Арубе.

Мне этот изощренный обман казался излишним. Я считала, что Роберт просто должен сказать родителям правду, – искренне верила, что в конце концов они примут нас такими, какие мы есть.

– Да что ты, – говорил он с отчаянием в голосе. – Они такие строгие католики.

Только после визита я поняла, почему Роберт так нервничал. Его отец встретил нас ледяным молчанием. У меня в голове не укладывалось, как можно не обнять родного сына.

Вся семья собралась в столовой: старшая сестра Роберта с мужем, старший брат с женой, четверо младших. Стол был накрыт, для идеального ужина все готово. Отец Роберта лишь скользнул по мне взглядом, а Роберту сказал только шесть слов:

– Тебе надо постричься. На девчонку похож.

Мать Роберта, Джоан, не жалела сил, чтобы внести в атмосферу хоть чуточку теплоты. После ужина она вынула из кармана фартука несколько купюр и украдкой сунула Роберту, а меня позвала к себе в спальню и открыла шкатулку с драгоценностями. Поглядывая на мои руки, достала золотое колечко.

– На кольцо у нас не хватило денег, – пояснила я.

– Носи на безымянном пальце левой руки, – сказала она и положила кольцо мне на ладонь.

Когда Гарри рядом не было, Роберт обращался с Джоан очень нежно. Джоан была женщина с характером. Она громко, не чинясь, хохотала, все время курила, с маниакальной одержимостью прибиралась в доме. Я поняла, что своей любовью к порядку Роберт обязан не только католической церкви. Джоан считала Роберта своим любимцем и, казалось, втайне гордилась его выбором жизненного пути. Отец Роберта хотел, чтобы он стал промышленным дизайнером, но Роберт взбунтовался. И теперь был движим жадной догадкой, что отец не прав.

Когда мы уходили, родственники Роберта обняли и расцеловали нас, но Гарри остался стоять поодаль.

– Не верю я, что они женаты, – донесся до нас его голос.

Роберт принялся вырезать балаганных уродцев из крупноформатного альбома о Тодде Браунинге<sup>44</sup>. Всюду валялись гермафродиты, микроцефалы и сиамские близнецы. Меня это

---

<sup>44</sup> Тод Браунинг (1880–1962) – американский киноактер, кинорежиссер, сценарист. Наиболее известен своими фильмами 30-х годов “Дракула” и “Уроды”.

озадачило: я не могла понять, какая связь между этими образами и недавним увлечением Роберта магией и религией.

Как всегда, я нашла способ угнаться за Робертом в моих собственных стихах и рисунках. Я рисовала циркачей и рассказывала о них истории – о ночном канатоходце Хагене Уэйкере, о Бальтазаре Ослиная Морда, об Арате Келли, чья голова имела форму полумесяца. Роберт никак не мог объяснить, чем его так влекут уродцы, да и я не могла объяснить, почему их рисую.

Настроившись на эту волну, мы отправлялись на Кони-Айленд в балаганы. На Сорок второй улице мы поискали Музей Хьюберта, где выступали Змеиная Принцесса Уэйго и блошинный цирк, но оказалось, что он в 1965 году закрылся. Правда, мы набрали на другой музей-кунсткамеру – совсем маленький, там были выставлены человеческие органы и эмбрионы в банках, доверху наполненных формалином, и Роберта обуяла идея использовать что-нибудь этакое в инсталляции. Он навел справки, и какой-то приятель рассказал ему о руинах старой больницы на острове Велфер (позднее острове Рузвельта). В воскресенье мы поехали туда с друзьями из Прэтта. На острове мы посетили две достопримечательности. Сначала отправились к длинному зданию девятнадцатого века, вылитому сумасшедшему дому – такая от него исходила аура; в действительности это была Оспенная клиника – первая в Америке больница, куда принимали пациентов с этой заразной болезнью. От здания нас отделяли только колючая проволока и битое стекло, и мы представляли себе, как умираем от чумы и проказы.

Были и другие руины – старая муниципальная больница, зловещая постройка в казенном стиле, которую окончательно снесли только в 1994 году. Внутри нас поразили тишина и стран-ный, какой-то лекарственный запах. Переходя из помещения в помещение, мы видели стел-лажи, уставленные заспиртованными образцами в стеклянных банках. Многие банки были раз-биты: крысы похозяйничали. Роберт прочесывал комнаты, пока не нашел искомое: эмбрион, плавающий в формальдегиде, в стеклянном лоне. Мы хором заявили, что Роберт превратит его в шедевр. На обратном пути Роберт прижимал к себе драгоценную находку. Шел молча, но я чувствовала его радость и предвкушение: он уже прикидывал, как заставит этот эмбрион работать на благо искусства. На Мертл-авеню мы распрощались с друзьями. И как только свер-нули на Холл-стрит, стеклянная банка каким-то необъяснимым образом выскользнула из рук Роберта и вдребезги разбилась о тротуар в нескольких шагах от нашей двери.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.